



КЛАССИКИ
НАУКИ

*Наша любовь к Родине меньше
всего походила на гордость...
Мы не пели патриотических песен —
мы плакали и молились.*

Дмитрий
Сергеевич



Лихачёв

Воспоминания



Классики науки (АСТ)

Дмитрий Лихачев

Воспоминания

«АСТ»

УДК 821.161.1-94
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

Лихачев Д. С.

Воспоминания / Д. С. Лихачев — «АСТ», — (Классики науки (АСТ))

ISBN 978-5-17-100285-5

Дмитрий Сергеевич Лихачёв очень много завещал тем, кто изучает древнерусское наследие. Всем другим, без исключения, он оставил письма о том, как прожить жизнь, за которую не стыдно и времени которой не жаль. И оставил воспоминания, иллюстрирующие такую жизнь. Удивительная память сохранила многие эпизоды из быта дореволюционного Петербурга, пронзительные образы Петербурга блокадного, топографию петербургских дачных пригородов и Соловков, обиход Соловецкого лагеря. И множество имен и характеров. «Стоит ли писать воспоминания?» – задает вопрос автор. И так отвечает на него: «Стоит – чтобы не забылись события, атмосфера прежних лет, а главное, чтобы остался след от людей, которых, может быть, никто больше никогда не вспомнит, о которых врут документы». По этой самой причине воспоминания стоит читать.

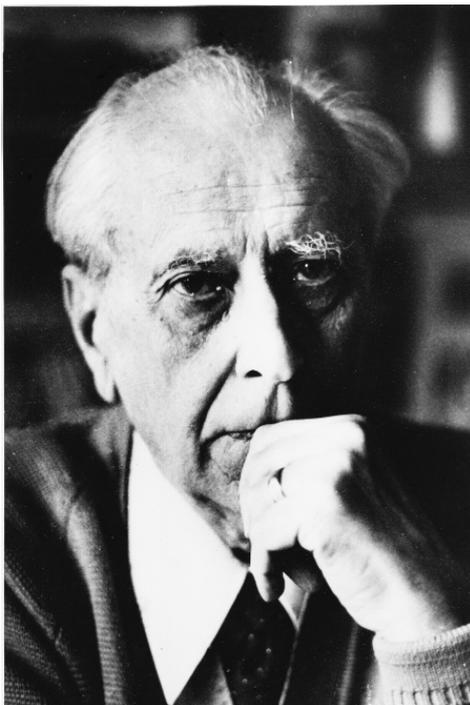
УДК 821.161.1-94
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-17-100285-5

© Лихачев Д. С.
© АСТ

Содержание

Предисловие	5
Род Лихачёвых	7
Дети Михал Михалыча Лихачёва	11
Детство	15
Катеринушка закатилась	18
О Петербурге моего детства	20
Об интеллектуальной топографии Петербурга первой четверти XX века[2]	27
Куоккала	32
«Семейные» слова	39
Крым	41
По Волге в 1914 году	43
Гимназия Человеколюбивого общества	46
Уроки рисования в училище Мая	47
Умный «ручной труд»	48
Революция – внешние впечатления	49
Жизнь в Первой государственной типографии	51
Тайцы, Ольгино, Токсово	53
Школа Лентовской	55
Леонид Владимирович Георг	57
Университет	61
Красный террор	65
Выработка мировоззрения	68
Конец ознакомительного фрагмента.	70



Дмитрий Сергеевич Лихачёв Воспоминания

Предисловие



С рождением человека рождается и его время. В детстве оно молодое и течет по-молодому – кажется быстрым на коротких расстояниях и длинным на больших. В старости время точно останавливается. Оно вялое. Прошлое в старости совсем близко, особенно детство. Вообще же из всех трех периодов человеческой жизни (детство и молодость, зрелые годы, старость) старость – самый длинный период и самый нудный.

Воспоминания открывают нам окно в прошлое. Они не только сообщают нам сведения о прошлом, но дают нам и точки зрения современников событий, живое ощущение современников. Конечно, бывает и так, что мемуаристам изменяет память (мемуары без отдель-

ных ошибок – крайняя редкость) или освещается прошлое чересчур субъективно. Но зато в очень большом числе случаев мемуаристы рассказывают то, что не получило и не могло получить отражения ни в каком другом виде исторических источников.

Главный недостаток многих мемуаров – самодовольство мемуариста. И избежать этого самодовольства очень трудно: оно читается между строк. Если же мемуарист очень стремится к «объективности» и начинает преувеличивать свои недостатки, то и это неприятно. Вспомним «Исповедь» Жан-Жака Руссо. Тяжелое это чтение.

Поэтому – стоит ли писать воспоминания? Стоит – чтобы не забылись события, атмосфера прежних лет, а главное, чтобы остался след от людей, которых, может быть, никто больше никогда не вспомнит, о которых врут документы.

Я не считаю таким уж важным мое собственное развитие – развитие моих взглядов и мироощущения. Важен здесь не я своей собственной персоной, а как бы некоторое характерное явление.

Отношение к миру формируется мелочами и крупными явлениями. Их воздействие на человека известно, не вызывает сомнений, и самое важное – «мелочи», из которых складывается работник, его мировосприятие, мироотношение. Об этих мелочах и случайностях жизни и пойдет речь в дальнейшем. Все мелочи должны учитываться, когда мы задумываемся над судьбой наших собственных детей и нашей молодежи в целом. Естественно, что в моей своего рода «автобиографии», представляемой сейчас вниманию читателя, доминируют положительные воздействия, ибо отрицательные чаще забываются. Человек крепче хранит память благодарную, чем память злую.

Интересы человека формируются главным образом в его детстве. Л. Н. Толстой пишет в «Моей жизни»: «Когда же я начался? Когда начал жить? ... Разве я не жил тогда, эти первые года, когда учился смотреть, слушать, понимать, говорить ... Разве не тогда я приобретал все то, чем я теперь живу, и приобретал так много, так быстро, что во всю остальную жизнь я не приобрел и одной сотой того?»

Поэтому в этих своих воспоминаниях я уделяю главное внимание детским и юношеским годам. Наблюдения над своими детскими и юношескими годами имеют некоторое общее значение. Хотя и последующие годы, связанные в основном с работой в Пушкинском Доме Академии наук СССР, также важны.

Род Лихачёвых

Согласно архивным данным (РГИА. Фонд 1343. Оп. 39. Дело 2777) основатель петербургского рода Лихачёвых – Лихачёв Павел Петрович – из «детей купеческих Солигаличских» был принят в 1794 году во вторую гильдию купцов Санкт-Петербурга. Приехал он в Петербург, конечно, раньше и был достаточно богат, ибо вскоре приобрел большой участок на Невском проспекте, где открыл мастерскую золотошвейного дела на два станка и магазин – прямо против Большого Гостиного двора. В Коммерческом указателе города Санкт-Петербурга на 1831 год указан номер дома 52, очевидно ошибочно. Дом № 52 был за Садовой улицей, а прямо против Гостиного двора находился дом № 42. Правильно указан номер дома в «Списке фабрикантам и заводчикам Российской империи» (1832. Ч. II. СПб., 1833. С. 666–667). Там же приводится и список изделий: всех сортов форменные офицерские вещи серебряные и аплике, позументы, бахромы, парчи, канитель, газ, кисти и пр. Указано три прядильных станка. На известной панораме Невского проспекта В. С. Садовникова изображен магазин с вывеской «Лихачевъ» (такие вывески с указанием одной только фамилии были приняты для самых известных магазинов). В шести окнах по фасаду выставлены скрепленные сабли и различного рода золотошвейные и позументные изделия. По другим документам известно, что золотошвейные мастерские Лихачёва находились тут же во дворе.

Сейчас номер дома 42 соответствует старому, принадлежавшему Лихачёву, но на этом месте выстроен новый дом архитектором Л. Бенуа.

Как явствует из «Петербургского некрополя» В. И. Саитова (СПб., 1912–1913. Т. II. С. 676–677), приехавший из Солигалича Павел Петрович Лихачёв родился 15 января 1764 года, похоронен на Волковом православном кладбище в 1841-м.

Семидесяти лет Павел Петрович и его семья получили звание потомственных почетных граждан Санкт-Петербурга. Звание потомственных почетных граждан было установлено манифестом 1832 года императором Николаем I с целью укрепить сословие купцов и ремесленников. Хотя звание это и было «потомственным», право на него мои предки подтверждали в каждое новое царствование получением ордена Станислава и соответствующей грамотой. «Станислав» был единственным орденом, который могли получить недворяне. Такие грамоты на «Станислава» были выданы моим предкам Александром II и Александром III. В последней грамоте, выданной моему деду Михаилу Михайловичу, указаны все его дети и в числе их мой отец Сергей. Но отцу уже не пришлось подтверждать своего права на почетное гражданство у Николая II, так как благодаря своему высшему образованию, чину и орденам (среди которых были Владимир и Анна – не помню, каких степеней) он вышел из купеческого сословия и принадлежал к «личному дворянству», т. е. отец стал дворянином, впрочем, без права передавать свое дворянство детям.

Потомственное почетное гражданство мой прапрадед Павел Петрович получил не только тем, что был на виду в петербургском купечестве, но и постоянной благотворительной деятельностью. В частности, в 1829 году Павел Петрович пожертвовал три тысячи пехотных офицерских сабель Второй армии, сражавшейся в Болгарии. Об этом пожертвовании я слышал еще в детстве, но в семье считалось, что сабли были пожертвованы в 1812 году во время войны с Наполеоном.

Все Лихачёвы были многодетны. Мой дед по отцу Михаил Михайлович имел собственный дом на Разъезжей улице (№ 24) рядом с подворьем Александро-Свирского монастыря, чем объясняется, что один из Лихачёвых пожертвовал крупную сумму на построение часовни Александра Свирского в Петербурге.

Михаил Михайлович Лихачёв, потомственный почетный гражданин Петербурга и член Ремесленной управы, был старостой Владимирского собора и в моем детстве уже жил

в доме на Владимирской площади с окнами на собор. На тот же собор смотрел из углового кабинета своей последней квартиры Достоевский. Но в год кончины Достоевского Михаил Михайлович не был еще церковным старостой. Старостой был будущий тесть его – Иван Степанович Семенов. Дело в том, что первая жена моего деда и мать моего отца Прасковья Алексеевна умерла, когда отцу было лет пять, и похоронена на дорогом Новодевичьем кладбище, где не удалось похоронить Достоевского. Отец родился в 1876 году. Михаил Михайлович (или, как его звали у нас в семье, Михал Михалыч) вторично женился на дочери церковного старосты Ивана Степановича Семенова – Александре Ивановне. Иван Степанович принимал участие в похоронах Достоевского. Отпевали его священники из Владимирского собора, и делалось все необходимое для домашнего отпевания. Сохранился один документ, любопытный для нас – потомков Михаила Михайловича Лихачёва. Документ этот приводит Игорь Волгин в рукописи книги «Последний год Достоевского».

И. Волгин пишет:

«Анна Григорьевна желала похоронить мужа по первому разряду. И все же похороны обошлись ей сравнительно недорого: большинство церковных треб совершалось безвозмездно. Более того, часть истраченной суммы была возвращена Анне Григорьевне, в чем удостоверяет весьма выразительный документ:

„Честь имею препроводить к Вам деньги 25 рубл. серебром, сегодня предоставленных мне за покров и подсвечники каким-то неизвестным мне гробовщиком, и при этом объяснить следующее: 29 числа утром лучший покров и подсвечники отправлены были из церкви в квартиру покойного Ф. М. Достоевского по распоряжению моему безвозмездно. Между тем неизвестный гробовщик, не живущий даже в пределах Владимирского прихода, взял с Вас деньги за церковные принадлежности самовольно, не имея на то ни права, ни резона, да и сколько он взял их, неизвестно. А потому как деньги взяты самовольно, я препровождаю Вам обратно и прошу принять уверения в глубоком уважении к памяти покойного.

Церковный староста Владимирской церкви Иван Степанов Семенов¹».

Дед мой по отцу, Михаил Михайлович Лихачёв, не был в точном смысле купцом (звание «потомственного и почетного» давалось обычно купцам), а состоял в Петербургской Ремесленной управе. Был он главой артели. Но в моем детстве артель деда была уже не золотошвейной.

И действительно дела золотошвейных мастерских Лихачёвых пошли плохо уже при Александре III, упростившем и удешевившем форму русской армии. В архиве Зимнего дворца сохранилось прошение моего прадеда о пособии с положительными отзывами. Прошение это само по себе любопытно:

«Прошение потомственного почетного гражданина С.Пб. I гильдии купца Михаила Лихачёва о выдаче ссуды 30 000 рублей для поддержания торговли парчами, галунами и золотошвейными товарами». Отзыв министра императорского двора – «ввиду почти столетнего существования фирмы и той пользы, которую деятельность деда, отца и сына принесла золотошвейному парчевому делу в России, – Воронцов-Дашков находит справедливым оказывать поддержку. Из представленных Лихачёвым документов усматривается, что торговля парчами, галунами и золотошвейными изделиями производилась торговым домом Лихачёва с 1794 году, представители дома неоднократно удостоивались высочайших наград и похвальных отзывов со стороны выставочных комиссий и заказчиков за доброкачественность и изящество представленных изделий. Отцу просителя, почетному гражданину Ивану Лихачёву, в 1859 году разрешено именоваться с сыновьями фабрикантами золотошвейных и золототканых изделий Императорского двора и иметь над местом торговли и на изделиях госу-

¹ См. в бумагах А. Г. Достоевской папку, озаглавленную «Материалы, относящиеся к погребению» (ГБЛ, ф. 33, Ш. 5.12, л. 22).

дарственный герб. Таким образом, заслуги фирмы довольно значительны и продолжение деятельности ее было бы весьма желательно» (ЦГИА. Ф. 40. Оп. 1. Д. 35. 1882 г. Л. 462).

Однако на документе стоит надпись: «Деньги даны не были».

Вот почему дед перешел на полотерное дело. В справочниках «Весь Петербург» за два последних перед революцией десятилетия дед значился уже с указанием специальности «полотерное дело». В детстве я помню, что к квартире деда примыкало общежитие полотеров с окнами на двор. Дед строго следил за поведением своих рабочих, тем более что артель отвечала за каждую пропавшую, разбитую или просто испорченную вещь, где натирались полы. Помню, что артель натирала полы в Адмиралтействе и других дворцовых помещениях. Набирались мастеравые из хороших, крепких крестьянских семей. Дед следил: умели ли рабочий есть за столом с крестьянской опрятностью и умел ли по-крестьянски резать хлеб. По этим признакам дед, говорят, безошибочно определял моральные качества своих людей.

Дед, как я уже сказал, был старостой Владимирского собора и летом отдыхал на даче в Графской (теперь Песочной) рядом с церковью, где часто выступал с проповедями знаменитый тогдашний проповедник священник-философ Орнатский.

Первая жена Михаила Михайловича Лихачёва Прасковья Алексеевна умерла от чахотки, оставив ему четверых детей: Анатолия, Гавриила, Екатерину, Сергея. От Прасковьи Алексеевны остались фотография в группе ее родных и большой портрет в черной овальной раме, сделанный итальянским карандашом по фотографии. На портрете отец мой ребенком лет трех сидит в юбочке (как тогда полагалось одеваться маленьким мальчикам) на руках у матери. Долго сохранялся у нас кусочек ее шотландского платка. Шерсть в нем была так тепла, что кусок этот употреблялся в нашей семье только в лечебных целях. Пропал этот кусок после смерти моей матери, у которой он хранился. Сохранилась еще маленькая записочка с перечислением имен ее детей; может быть, для поминания в церкви? Это было все, что осталось от Прасковьи Алексеевны. Большинство людей умирает, оставив по себе не больше, но дети – главное!

Вторым браком Михаил Михайлович был женат на Александре Ивановне – дочери старосты Владимирского собора Семенова, обязанности которого дед после смерти Семенова принял на себя. О Семенове я уже писал выше.

В 1904 году Михаил Михайлович Лихачёв переехал из собственного дома на Разъезжей в большую квартиру в новом доме напротив Владимирской церкви, в которой состоял старостой. В этом доме мы всей семьей посещали его в Михайлов день, когда он приглашал к себе духовенство Владимирской церкви, служил молебен и угощал обедом, а также на Рождество и на Пасху.

Характер у деда был тяжелый. Не любил, чтобы женщины в семье сидели без дела. Сам он выходил только к обеду из своего огромного кабинета, где в последние годы лежал на диване, приставленном к письменному столу. В моей памяти запечатлелась картина: Михаил Михайлович лежит на диване одетый. Ночные туфли стоят рядом. Борода расчесана на две половины, как у Александра II (важным лицам в XIX веке полагалось носить бороду и усы как у государя). Со своего дивана он достает из ящика письменного стола золотые десятирублевки и дарит их нам, когда мы перед уходом заходим к нему в кабинет попрощаться. Над ним на потолке длинная трещина, и я всегда, заходя к нему, боялся, что потолок когда-нибудь свалится на него.

В последний раз (это было во время войны в 1916-м или 1917-м) он не подарил мне золотой, а я, привыкший к его подаркам, не уходил из его кабинета: думал, что вспомнит. В конце концов дедушка сказал мне: «Ну, что же стоишь...» – и назвал меня как-то ласково «внучек». Я говорю ему: «А монетка?» Дедушка застеснялся, заулыбался и протянул мне

золотой пятирублевик вместо обычного десятирублевика: видно, дела дедушки еще более пошатнулись.

Я так много говорю о семье моего отца, что она до сих пор в какой-то мере остается для меня загадкой. Мой прапрадед Павел Петрович Лихачёв «из детей купеческих Солигалича» был человеком грамотным, но не более. Почерк его на оставшихся документах очень похож на допетровскую скоропись. Профессионально он был, вероятно, очень практически осведомлен. Не случайно, думается, в Петербурге он оказывается одним из самых богатых ремесленников.

Его потомок Михаил Михайлович Лихачёв многое от него усвоил, но и продвинулся далее в своем общественном положении. Его грудь покрывали ордена, медали и значки различных благотворительных обществ. О тяжелом характере деда часто говорили в нашей семье, и я до самого последнего времени представлял себе семью деда неблагополучной, задавленной дедовским деспотизмом. По поводу всякого проявления семейного деспотизма моим отцом мать моя часто с осуждением называла его «Михал Михалыч». А между тем мы были окружены подарками деда: половая лампа с ониксовым, очень дорогим, столиком, зеленый ковер с подсолнухами для большой гостиной, каминный экран с подсолнухами, прекрасный бронзовый письменный прибор у отца, четверо золотых карманных часов для отца и его трех сыновей. И мало ли еще что. Не забывал дед и о такой мелочи, как предпочтение, отдававшееся моей матерью зеленому цветку, – все в его подарках, что могло иметь цвет, было зеленым. Все это было знаками внимания моего деда к нашей семье.

Дети Михал Михалыча Лихачёва

Женат Михал Михалыч, как я уже сказал, был дважды. Первая жена Прасковья Алексеевна, моя бабушка, умерла от чахотки (тогда не говорили «туберкулез»), косившей в Петербурге тысячи людей, главным образом в молодом возрасте. Чахоточные умирали весной. Она умерла первого или второго марта. Отец всегда боялся этих чисел марта и действительно умер во время блокады первого марта (мы зарегистрировали его тогда как умершего второго марта). Мы с отцом всегда ездили потом на могилу бабушки на Новодевичьем кладбище – самом дорогом в тогдашнем Петербурге. Отец мальчиком посадил на ее могиле березку, и ко времени, когда я с ним стал посещать могилу, береза стала старой и разрушала корнями раковину могилы.

Как реликвию хранили в семье написанную рукой Прасковьи Алексеевны уже упомянутую записочку с именами ее детей. Старший сын Прасковьи Алексеевны Анатолий умер рано. Дочь Екатерина вышла замуж за известного подрядчика Кудрявцева, строившего великокняжескую усыпальницу в Петропавловской крепости. У Екатерины Михайловны с мужем был особняк на Выборгской стороне, два сына – Михаил и Александр, которых мы с братом почему-то называли «дядя» Миша и «дядя» Шура, хотя они были нашими двоюродными братьями. Оба воспитывались с гувернантками, хорошо знали французский и немецкий и стали инженерами-электриками по совету нашего отца. Дом тети Кати был поставлен на барскую ногу. Когда муж тети Кати умер, она вышла замуж за помощника покойного мужа – Сегодняка. Сегодняк был значительно младше тети Кати и, как говорили, женился на ее бриллиантах. Во всяком случае, он был жаден, неприятен и вскоре завел себе любовницу, которой в конечном счете и достались все бриллианты тети Кати. Но это случилось уже во время блокады Ленинграда. А тетя Катя, чтобы привлечь мужа, усердно следила за своими нарядами, делала подтяжки лица (во время одной из этих операций она упала в обморок и ее не скоро привели в чувство). Судьба ее сыновей была несчастливой. «Дядя» Шура был помощником проф. Гаккеля – специалиста по электроаккумуляторам, что было важно для подводных лодок. Во время блокады Шура что-то неосторожное сказал в столовой Дома ученых про своего учителя, в результате чего Шуру стали таскать на допросы. После одного из допросов он пришел домой, ушел на чердак и там повесился. После следователи приходили домой к его вдове и уговаривали ее не поднимать шум: военное ведомство было очень заинтересовано в работах «дяди» Шуры. А с «дядей» Мишей все было иначе. Став инженером-электриком, он переехал в Павловск, где ему очень нравилось, женился на дочери командующего Черноморским флотом Пандзержанского, расстрелянного перед войной. В Павловске его и жену захватили немцы, и он остался жив только благодаря тому, что говорил как немец на хорошем литературном немецком языке. Когда уже вдовой жена «дяди» Миши обратилась к главе Ленинградского исполкома Смирнову с просьбой предоставить ей квартиру, Смирнов, не шелохнувшись всей своей громадной тушей, отчеканил: «Обращайтесь с этой просьбой по месту расстрела вашего отца». И она осталась жить в Барановичах, куда их отправили еще немцы.

Перехожу еще к одному сыну Михал Михалыча и Прасковьи Алексеевны: к дяде Гаврюше. Его я никогда не видел. Сохранилось только длинное наставительное письмо моего отца, обращенное к Гаврюше, где отец мой пишет ему, что он готов устроить его на работу, но требует обещания аккуратно выполнять свои обязанности и не бросать работы, как он бросал ее перед тем. А дело в том, что Гаврюша имел мятущуюся душу. Уходил несколько раз в монастырь. Присоединившись к паломникам, уезжал даже на Афон в поисках правды. Сидеть за письменным столом и выполнять обязанности канцеляриста он органически не мог. Он все время был в духовных поисках. Пропадал на годы. Перед Второй

мировой войной мы получили известие, что он женился, живет в Ростове-на-Дону, жена продает в киоске газеты. Что делает он сам – неизвестно. На этом сведения о нем обрываются. Значит, и из него не получился ни коммерсант, ни ремесленник.

Второй женой Михал Михалыча, как я уже написал, была дочь старосты Владимирского собора Александра Ивановна Семенова.

Мой отец с глубоким уважением относился к своей мачехе, но отроком ушел из дома, стал жить на собственные средства уроками и закончил реальное училище, чтобы стать инженером. Михал же Михалыч хотел, чтобы он унаследовал его дело и закончил коммерческое училище, не дававшее права поступить в институт.

Александра Ивановна боялась Михал Михалыча, как, впрочем, и все в доме. Михал Михалыч следил, чтобы никто в семье не сидел без дела и не «точил лясы». Приоткрывает дверь в столовую, посмотрит на всех женщин тяжелым взглядом и иногда произнесет: «Ишь дармоедки». Поэтому в обычае было в доме на всякий случай держать женщинам рукоделие на коленях. Заслышат шарканье дедушкиных туфель и схватятся – кто вязать, кто штопать, кто чинить что-нибудь.

И все ж таки, несмотря на тяжелый семейный быт, Александра Ивановна была полна чувства собственного достоинства, держалась представительно, не унижалась перед мужем, хотя во всем его слушалась. Детей от первого брака любила, называла их ласкательно: Сереженька, Катюша. Ближе всего к ней была ее очень некрасивая дочь Вера. Это было удивительное существо, кротости необыкновенной, доброты чрезвычайной, веры глубочайшей. Я могу говорить о ней только в превосходной степени. Голос у нее был необыкновенно красив, и петербургское произношение, как и во всей семье дедушки, безупречное. Называла она меня Митюша, и одно это слово звучало для меня, как музыка. Она целиком посвятила себя матери, ухаживала за ней самоотверженно и никогда не жаловалась на судьбу. Между тем Александра Ивановна от неподвижного образа жизни страдала ногами. Ей отняли ногу, а когда после смерти Михал Михалыча Александра Ивановна и Вера, чтобы сократить расходы, переехали из центра города на Удельную на второй этаж деревянного дома, – отняли и вторую. Вскоре Александра Ивановна умерла, и Вера стала помогать в Удельной всем, кто в этом нуждался, ничего за это не требуя. Многие жители Удельной ее знали и считали святой. Небольшие деньги давали ей дядя Вася из своей нищенской зарплаты – ее брат, и мой отец – ее брат по отцу. Закончила она свою жизнь во время блокады. Еще до блокады она отдала свою большую комнату бедной многодетной еврейской семье, жившей в холодной комнатке с дверью, выходившей прямо на улицу. Разумеется, она ничего не взяла с них. Как ни топи, а ногам было в этом сарайчике холодно. Зимой она обычно сидела на высокой кровати с ногами. В начале блокады она умерла от голода одной из первых. Нам до нее было не добраться, и только весной 1942 года мы узнали о ее смерти. Где она похоронена – Бог весть.

Вторая моя тетя по отцу – Маня – была очень красива. Помню, как отец с матерью спорили: кто красивее – тетя Маня или сестра моей матери тетя Люба. Споры эти, конечно, были полусерьезные. Тетя Маня, однако, не вышла замуж: уж очень строго держал своих дочерей Михал Михалыч. За тетю Маню сватался будущий настоятель Шуваловской церкви. Тетя Маня сказала: «Ну какая я попадья» – и отказала. Чтобы получить хоть какую-то самостоятельность, она пошла учиться на зубного врача и некоторое время успешно практиковала где-то около Литейного моста в поликлинике, где у нее был зубоврачебный кабинет. А затем она уехала под Новгород на Фарфоровый завод. С заводом этим она эвакуировалась, близко подружилась со служащими и рабочими – настолько, что к ней ходили советовать по всем, даже семейным, делам. Единственно, что ее смущало: далекость церкви. Была она прихожанкой Николодворищенского собора в Новгороде, пока священника этой церкви, ставшего очень популярным, не перевели в другой приход, а из самой церкви одиннадцатого века не сделали планетарий. Однажды я к ней заезжал в поселок Пролетарский.

Жила она бедно недалеко от шоссе Москва – Ленинград в комнате, которую она старалась сделать уютной, и меня во время моего единственного посещения ее с волнением спрашивала: «Правда, я уютно устроила свою комнату?» Выписывала она «Медицинскую газету», «чтобы не отстать», и кое-какие книги. Тут ее, уже жившую на пенсии, и посещали ее многочисленные поклонники, а она наставляла всех добру и учила верить Богу. «Ну, если уж доктор наш верит, то, верно, Бог есть...» – говорили рабочие. Похоронена она в 50-х годах на кладбище в Пролетарском. Перед смертью она приехала в Ленинград и поднималась к нам в квартиру на Басковом переулке. Я ее фотографировал, но снимок получился плохим.

Была еще тетя Настя – тоже красивая и тоже не вышедшая замуж, как и тетя Маня. Она была с высшим образованием, окончила Педагогический институт (не знаю точно какой). Получала золотые медали. Всю себя посвящала педагогическому делу. У нас дома она не бывала, а когда мы всей семьей приходили к бабушке по праздникам, вводила меня к себе в комнату и мы с ней лепили или играли в настольные игры. Она рано умерла от чахотки. В развитии ее болезни, я думаю, сыграла свою роль какая-то внутренняя неудовлетворенность, гнетущая обстановка, создававшаяся в семье тяжелым «купеческим» характером бабушки Михал Михалыча.

А теперь о любимом мною дяде Васе – сыне Александры Ивановны. На старых фотографиях, еще дореволюционных, он выглядит настоящим щеголем: вздернутые усики, элегантное расклешенное по моде того времени пальто. Есть его фотографии с тросточкой. Если добавить к этому, что он с женой и дочкой любил ходить в кино, увлекался цыганским пением и особенно Варей Паниной, собирал ее пластинки, то на этом можно было бы поставить точку: портрет вполне законченный. Но на самом деле вся эта «внешность» была только оболочкой и, вероятнее всего, шла от довольно ординарной и мещанистой жены. На самом же деле дядя Вася был очень религиозен. И это было в нем основным. Его почитаемым святым был Серафим Саровский. В Саров он ездил один. Сохранились его фотографии Саровской пустыни. Он собирал литературу о Серафиме Саровском. Имел не пропущенный духовной цензурой полный экземпляр книги Мотовилова о Серафиме Саровском. Увлечен он был и чудесным явлением иконы Державной Божьей Матери, найденной в селе Коломенском в самый день отречения Николая II.

Я помню его высокую фигуру у нас на Офицерской. Он стоит в передней, а я еще не умею говорить и обнимаю его ноги. Он мне кажется таким высоким! Выше его никого нет.

Потом он с женой и дочкой Наташей жили на Петроградской стороне. Работал он тогда в Государственном банке и принимал участие в стачке банковских служащих, протестовавших против разгона Учредительного собрания большевиками. Стачка, как мне кажется, длилась очень долго – несколько месяцев. Теща дяди Васи за бесценок продавала все самые нужные вещи на Ситном рынке, чтобы жить. Сам он был в отчаянии, но изменить общему делу и поступить куда-нибудь на работу, как делали многие из его товарищей, он не мог. Семья буквально голодала, и как раз в тот период, когда начался общий голод после установления Советской власти в 1918 году.

Со мной, студентом, он постоянно говорил на большие мировоззренческие темы. Не довольствовался простыми ответами, иногда спорил. Он думал, задумывался, мечтал. Он не был как все. Во всем он был самим собой. Как-то он сказал мне по какому-то случаю: «Люблю большие пароходы и пушечные выстрелы с Петропавловки». В те времена пушка возвещала о наводнениях – сколько футов над ординаром, столько выстрелов – и палила также в «адмиральский час» – ровно в 12 часов. В народе говорили, что под пушку адмирал в Адмиралтействе пьет рюмку водки.

Умер мой дорогой правдоискатель во время блокады ужасно. Дома его совсем не кормили. Он пришел к нам в начале блокады попросить немного хлеба и принес дорогие куклы для детей. Куклы тогда можно было купить, а хлеб нельзя было купить совершенно. Пришел

он к дяде Шуру и встал в прихожей на колени, умоляя дать немного хлеба. Скупой Шура не дал ничего.

Это был не единственный случай, когда во время блокады семья отказывалась кормить своего главу, упрекая его в том, что он вовремя не запасся, не поступил на работу и лишился карточек или пропуска в столовую.

В какой общей могиле закопали дядю Васю – не знаю. С дочкой его я как-то после блокады избегал встречаться. Я не скажу, что она была плохая. Напротив, один ее поступок в 30-е годы вселил мне уважение к ней. Она увлекалась певцом Н. К. Печковским, часто бывала в театрах, дружила с актрисой Балабиной, переписка с которой составила большую пачку, которую я просил после ее смерти передать в Театральный музей. Не знаю – передали ли ее жильцы квартиры, распорядившиеся ее имуществом. Ее начали вербовать в секретные сотрудники. Вызывали на «разговоры». Угрожали, улещали и обещали – все по инструкциям. Но на один из вызовов она явилась с матерью. Отказалась подписать бумагу о неразглашении своего разговора. Следовательно, вызывавший ее, был в ярости. После того, как она объявила ему, что одна, без матери, разговаривать с ним не будет, он наконец отстал и больше не вызывал. Это был смелый шаг, но верный.

Мой отец Сергей Михайлович, уйдя из дома, стал жить уроками, самостоятельно закончил реальное училище, поступил в только что открывшийся Электротехнический институт (он помещался тогда на Новоисаакиевской улице в центре города), стал инженером, работал в Главном управлении почт и телеграфов. Он был красив, энергичен, одевался щеголем, был прекрасным организатором и известен как удивительный танцор. На танцах в Шуваловском яхт-клубе он и познакомился с моей матерью. Оба они получили приз на каком-то балу, а затем отец стал ежедневно гулять под окнами моей матери и в конце концов сделал предложение.

Моя мать была из купеческой среды. По отцу она была Коняева (говорили, что первоначально фамилия семьи была Канаевы и неправильно записана в паспорт кому-то из предков в середине XIX в.). По матери она была из Поспеевых, имевших старообрядческую молельню на Расстанной улице у Раскольниковского моста близ Волкова кладбища: там жили старообрядцы федосеевского согласия. Поспеевские традиции и были самыми сильными в нашей семье. У нас по старообрядческой традиции никогда не было собак в квартире, но зато мы все любили птиц. По семейным преданиям, мой дед из Поспеевых ездил на парижскую выставку, где поражал великолепными русскими тройками. В конце концов и Поспеевы и Коняевы стали единоверцами, крестились двумя перстами и ходили в единоверческую церковь – где теперь Музей Арктики и Антарктики.

Отец матери Семен Филиппович Коняев был одним из первых бильярдистов Петербурга, весельчак, добряк, певун, говорун, во всем азартный, легкий и обаятельный. Никого он не угнетал, проиграв все – мучился и стеснялся, затем неизменно отыгрывался. В квартире его постоянно бывали гости, кто-то непременно гостил. Любил Некрасова, Никитина, Кольцова, прекрасно пел русские народные песни и городские романсы. По-старообрядчески сдержанная бабушка любила его беззаветно и все прощала.

Отец и мать мои были уже типичными петербуржцами. Сыграла тут роль и среда, в которой они вращались, знакомые по дачным местам в Финляндии, увлечение Мариинским театром, около которого мы постоянно снимали квартиры. Чтобы сэкономить деньги, каждую весну, отправляясь на дачу, мы отказывались от городской квартиры. Мебель отвозили на склад, а осенью снимали новую пятикомнатную квартиру, обязательно вблизи от Мариинского театра, где родители имели через знакомых оркестрантов и Марию Мариусовну Петипа ложу третьего яруса на все балетные абонементы.

Детство

Мои первые детские воспоминания восходят ко времени, когда я только начинал говорить. Помню, как в кабинете отца на Офицерской сел на подоконник голубь. Я побежал сообщить об этом огромном событии родителям и никак не мог объяснить им – зачем я их зову в кабинет. Другое воспоминание. Мы стоим на огороде в Куоккале, а отец должен ехать в Петербург на службу. Но я не могу этого понять и спрашиваю его: «Ты едешь покупать?» (отец всегда что-то привозил из города), но слово «покупать» у меня никак не выговаривается и получается «покукать». Мне так хочется сказать правильно! Еще более раннее воспоминание. Мы живем еще на Английском проспекте (потом проспект Мак Лина, превратившегося теперь в обыкновенного русского Маклина). Я с братом смотрю волшебный фонарь. Зрелище, от которого замирает душа. Какие яркие цвета! И мне особенно нравится одна картина: дети делают снежного Деда Мороза. Он тоже не может говорить. Эта мысль приходит мне в голову, и я его люблю, Деда Мороза, – он мой, мой. Я только не могу его обнять, как обнимаю любимого плюшевого и тоже молчащего медвежонка – «Берчика». Мы читаем «Генерала Топтыгина» Некрасова, и нянька шьет Берчику генеральскую шинель. В этом генеральском чине Берчик «воспитывал» в блокаду и моих дочерей. Уже после войны генеральскую шинель на красной подкладке мои маленькие дочери перешли в женское пальто для одной из кукол. Уже не в генеральском чине он «воспитывал» потом мою внучку, неизменно молчаливый и ласковый.

Мне было два или три года. Потом я получил в подарок немецкую книжку с очень яркими картинками. Была там сказка о «Счастливом Гансе». Одна из иллюстраций – сад, яблоня с крупными красными яблоками, ярко-синее небо. Так радостно было смотреть на эту картинку зимой, мечтая о лете. И еще воспоминание. Когда ночью выпадал первый снег, комната, где я просыпался, оказывалась ярко освещенной снизу, от снега на мостовой (мы жили на втором этаже). На светлом потолке двигались тени прохожих. По потолку я знал – наступила зима с ее радостями. Так весело от любой перемены – время идет, и хочется, чтобы шло еще быстрее. И еще радостные впечатления от запахов. Один запах я до сих пор люблю: запах разогретого солнцем лавра и самшита. Он напоминает мне о крымском лете, о поляне, которую все называли «Батарейка», так как тут во время Крымской войны располагалась русская батарея на случай, чтобы предотвратить высадку англо-французских войск в Алушке. И такой близкой казалась эта война, точно она была вчера – всего 50 лет назад!

Одно из счастливейших воспоминаний моей жизни. Мама лежит на кушетке. Я забираюсь между ней и подушками, ложусь тоже, и мы вместе поем песни. Я еще не ходил в подготовительный класс.

Дети, в школу собирайтесь,
Петушок пропел давно.
Попроворней одевайтесь!
Смотрит солнышко в окно.
Человек, и зверь, и пташка —
Все берутся за дела,
С ношей тащится букашка;
За медком летит пчела.
Ясно поле, весел луг;
Лес проснулся и шумит;
Дятел носом: тук да тук!

Звонко иволга кричит.
Рыбаки уж тащат сети;
На лугу коса звенит...
Помолясь, за книгу, дети!
Бог лениться не велит.

Из-за последней фразы, верно, вывелась эта детская песенка из русского быта. А знали ее все дети благодаря хрестоматии Ушинского «Родное слово».

А вот и другая песенка, которую мы пели:

Травка зеленеет,
Солнышко блестит,
Ласточка с весною
В сени к нам летит.
С нею солнце краше
И весна милей...
Прощебечь с дороги
Нам привет скорей!
Дам тебе я зерен;
А ты песню спой,
Что из стран далеких
Принесла с собой.

Ясно помню, что слово «прощебечь» я пел как «прощебесь» и думал, что это кто-то кому-то приказывает «прочь с дороги» – «прощебесь с дороги». Только уже на Соловках, вспоминая детство, я понял истинный смысл строки!

Жили мы так. Ежегодно осенью мы снимали квартиру где-нибудь около Мариинского театра. Там родители всегда имели два балетных абонементов. Достать абонементы было трудно, но нам помогали наши друзья – Гуляевы. Глава семьи Гуляевых играл на контрабасе в оркестре театра и поэтому мог доставать логи на оба балетных абонементов. В балет я стал ходить с четырехлетнего возраста. Первое представление, на котором я был, – «Щелкунчик», и больше всего меня поразил снег, падавший на сцене, понравилась и елка. Потом я уже бывал вечерами и на взрослых спектаклях. Было у меня в театре и свое место: наша ложа, которую мы абонировали вместе с Гуляевыми, помещалась в третьем ярусе рядом с балконом. Тогда балкон имел места с железными, обтянутыми голубым плюшем поручнями. Между нашей ложей и первым местом балкона оставалось маленькое клиновидное местечко, где сидеть мог только ребенок, – это место и было моим. Балеты я помню прекрасно. Ряды дам с веерами, которыми обмахивались больше для того, чтобы заставить играть бриллианты на глубоких декольте. Во время парадных балетных спектаклей свет только притушивался, и зал и сцена сливались в одно целое. Помню, как «вылетала» на сцену «коротконожка» Кшесинская в бриллиантах, сверкавших в такт танцу. Какое это было великолепное и парадное зрелище! Но больше всего мои родители любили Спесивцеву и были снисходительны к Люком.

С тех пор балетная музыка Пуни и Минкуса, Чайковского и Глазунова неизменно поднимает мое настроение. «Дон Кихот», «Спящая» и «Лебединое», «Баядерка» и «Корсар» неразрывны в моем сознании с голубым залом Мариинского, входя в который я и до сих пор ощущаю душевный подъем и бодрость.

Известный в свое время балетоман В. Крымов пишет в своей заметке «В балете»: «Балет сохранил свои традиции до наших дней (статья относится к 1914 году – Д. Л.). Тра-

диция и на сцене, традиция и в зрительном зале. Разве не традиция П. П. Дурново, сидящий в одном и том же кресле правого ряда 37 лет! Разве не традиция «первый балетный абонемент», где все ложи бенуара и бельэтажа известны всем поименно, где в первом и во втором рядах кресел все кивают друг другу и зовут по имени.

– «Ложа яхт-клуба», «ложа уланов», «ложа Половцевых», «ложа Кшесинской».

– «Почему нет Лихачёвых?», «Где Бакеркина? В ее ложе кто-то другой...»

– «А вот Кшесинская у себя в ложе... полтора года ее не было видно – была в трауре...»

Ге, Винтулов, Светлов, адм. Веселаго, Чихачев, адм. Берилев, Плещеев, Померанцев, веселый купец во втором ряду налево – разве без них может идти представление? Они такая же неотъемлемая часть «Капризов бабочки» или «Дон Кихота», как и те, кто на сцене» (ж. «Столица и усадьба». 1914. № 3. С. 16).

Считалось модным не пропускать ни одного представления «Дон Кихота», но при этом не приходило на пролог, в котором Дон Кихот собирается в поход – на этот пролог приходили либо новички, либо на дневных спектаклях с детьми. Пропускать пролог было так же бонтонно, как гулять в антрактах в коридоре партера, не поднимаясь в большое фойе, где у царской ложи неподвижно стояли часовые – были ли в ней придворные или нет (сама царская семья сидела всегда справа от сцены в ложе бенуара за голубыми портьерами).

В моем кабинете, отделяя кабинет от холла, висит сейчас на стеклянной двери бархатный голубой занавес: он из старого Мариинского театра, куплен в комиссионном магазине еще тогда, когда мы жили в конце 40-х годов на Басковом переулке и шел ремонт зрительного зала театра после войны (бомба попала в фойе; обивку и занавеси обновляли).

Когда я слушал разговоры о Мариусе Мариусовиче и Марии Мариусовне Петипа, мне казалось, что речь идет об обыкновенных знакомых нашей семьи, которые только почему-то не приходят к нам в гости.

Раз в год поездка в Павловск «пошуршать листьями», раз в год посещение Домика Петра Великого перед началом учебного года (таков был петербургский обычай), прогулки на пароходах Финляндского пароходного общества, бульон в чашках с пирожком в ожидании поезда на элегантном Финляндском вокзале, встречи с Глазуновым в зале Дворянского собрания (теперь зал Филармонии), с Мейерхольдом в поезде Финляндской железной дороги – этого было достаточно, чтобы стереть границы между городом и искусством...

По вечерам дома мы играли в любимое цифровое лото, играли в шашки; отец обсуждал прочитанное им накануне на ночь – произведения Лескова, исторические романы Всеволода Соловьева, романы Мамина-Сибиряка. Все это в широко доступных дешевых изданиях – приложениях к «Ниве».

Катеринушка закатилась

Мою няню звали Катеринушка.

Единственное, что сохранилось от Катеринушки, – фотография, на которой она снята с моей бабушкой Марией Николаевной Коняевой. Фотография плохая, но характерная. Обе смеются до слез. Бабушка просто смеется, а Катеринушка и глаза закрыла, и видно, что слова вымолвить не может от смеха. Я знаю, отчего обе так смеются, но не скажу... Не надо!

Кто снял их во время приступа такого неудержимого смеха – не знаю. Фотография любительская, и в нашей семье она давным-давно. Катеринушка нянчила мою мать, нянчила моих братьев. Мы хотели, чтобы помогла она нам и с нашими «рунчиками» – Верочкой и Милочкой, но что-то ей помешало. Помех у нее, притом неожиданных, было немало.

Помню, что жила она на Тарасовом в одной со мной комнате, а было мне тогда лет шесть, и я открыл впервые, к своему удивлению, что у женщин есть ноги. Юбки носили такие длинные, что видна бывала только обувь. А тут по утрам за ширмой, когда Катеринушка вставала, появлялись две ноги в толстых чулках разного цвета (чулок все равно под юбкой не видно). Я смотрел на эти разноцветные чулки до щиколоток, появлявшиеся передо мной, и удивлялся.

Катеринушка была как родная и для нашей семьи и для семьи моей бабушки по матери. Чуть что нужно – и появлялась в семье Катеринушка: заболит ли кто серьезно и нужно ухаживать, ожидается ли ребенок и нужно готовиться к его появлению на свет – шить свивальнички, подгузнички, волосяной (нежаркий) матрасик, чепчики и тому подобное; заневестилась ли девушка и нужно готовить ей приданое – во всех этих случаях появлялась Катеринушка с деревянным сундучком, устраивалась жить и как своя вела всю подготовку, рассказывала, говорила, шутила, в сумерки пела со всем семейством старинные песни, вспоминала про старое.

В доме с ней никогда не было скучно. И даже когда кто-нибудь умирал, она умела внести в дом тишину, благопристойность, порядок, тихую грусть. А в благополучные дни она играла и в семейные игры – со взрослыми и детьми – в лото цифровое (с бочоночками), причем, выкликая цифры, давала им шуточные названия, говорила приговорками и поговорками (а это не одно и то же – приговорок сейчас никто не знает, фольклористы их не собирали, а они часто бывали «заумными» и озорными в своей бессмысленности – хорошей, впрочем).

Кроме нашей семьи, семьи бабушки и ее детей (моих теток) были и другие семьи, для которых Катеринушка была родная и, попав в которые, не сидела сложа руки, вечно что-то делала, сама радовалась и радость эту и уют распространяла вокруг.

Легкий она была человек. Легкий во всех смыслах, и на подъем тоже. Соберется Катеринушка в баню и не возвращается. Сундучок ее стоит, а ее нет. И не очень о ней беспокоятся, так как знают ее обычаи – придет Катеринушка. Мать спрашивает свою матушку (а мою бабушку): «Где Катеринушка?», а бабушка отвечает: «Катеринушка закатилась». Такое было название для ее внезапных уходов. Через несколько месяцев, через год Катеринушка так же внезапно появляется, как перед тем исчезла. «Где ж ты была?» – «Да у Марьи Ивановны! Встретила в бане Марью Иванну, а у той дочь заневестилась: пригласили приданое справить!» – «А где же Марья Иванна живет?» – «Да в Шлюшине!» (Так в Питере называли Шлиссельбург – от старого шведского «Слюсенбурх».) «Ну а теперь?» – «Да к вам. Свадьбу третьего дня справили».

Вспоминала она и про мою маму разные смешные истории. Пошли они вместе в цирк. Мама маленькой девочкой была с Катеринушкой в цирке в первый раз и пришла в такой восторг, что вцепилась Катеринушке в шляпу да вместе с вуалькой содрала с нее...

Катеринушка только при своих ходила в платке, а на улице, да еще в цирке бывала в шляпке. И в Александринский театр она со всей семьей дедушки и бабушки ходила. Помню, рассказывала, как в антрактах в аванложу приносили кипящий самовар и вся бабушкина семья пила чай. Таков был обычай в «купеческом» Александринском театре, где и пьесы подбирались на вкус купеческий и мещанский (потому-то «Чайка» там и провалилась – ждали ведь фарса, тем более что и Чехов в этой среде был известен как юморист).

Так вот о шляпке. Шляпка не была случайностью. Катеринушка была вдовой мастера, погибшего во время какой-то заводской аварии. Она гордилась своим мужем, гордилась, что его ценили. У нее был и собственный дом в Усть-Ижоре. Обращен он был окнами на Неву, то есть на север, и так она любила свою Усть-Ижору и дом, что, бывало, рассказывала: «В мой дом солнышко два раза в день заглядывает – утром раненько поздоровается, а вечером к закату попрощается». Если учесть, что летом восход и закат сдвинуты к северу, то это, наверное, так и было. Но не зимой.

Никто не знал ее фамилии. Я у мамы спрашивал – не знала, но в паспорте у Катеринушки стояло отчество – Иоакимовна, и очень она не любила, если кто-нибудь называл ее Акимовной. Даже с обидой об этом рассказывала.

Как определить профессию этой милой вечной труженицы, приносившей людям столько добра (счастье входило вместе с ней в семью)? Я думаю, назвать бы ее следовало «домашней портнихой». Профессия эта совершенно сейчас исчезла, а когда-то она была распространенной. Домашняя портниха поселялась в доме и делала работу на несколько лет: перекраивала, перешивала, ставила заплатки, шила и белье, и пиджак хозяину – на все руки мастер. Появится такая домашняя портниха в доме, и начинают перебирать все тряпье и всей семьей советоваться, как и что перешить, что бросить, что татарину отдать (татары-тряпичники ходили по дворам, громко кричали «Халат-халат!» и в доме всякую ненужность покупали за гроши).

Умерла она так же, как и жила: никому не доставив хлопот. Закатилась Катеринушка в 1941 году слабой одноглазой старухой. Услыхала она, что немцы подходят к любимой ее Усть-Ижоре, встала у моей тети Любы с места (жила тетя Люба на улице Гоголя) да так и пошла в Усть-Ижору к своему дому. Дойти она не смогла и где-то погибла, верно по дороге, так как немцы уже подошли к Неве. Привыкла она всю жизнь помогать тем, кто нуждался в ее помощи, а тут несчастье с ее Усть-Ижорой... Закатилась Катеринушка последний раз в жизни.

О Петербурге моего детства

Петербург-Ленинград – город трагической красоты, единственный в мире. Если этого не понимать – нельзя полюбить Петербург. Петропавловская крепость – символ трагедий, Зимний дворец на другом берегу – символ плененной красоты.

Петербург и Ленинград – это совсем разные города. Не во всем, конечно. Кое в чем они «смотрятся друг в друга». В Петербурге прозревается Ленинград, а в Ленинграде мелькает Петербург его архитектуры. Но сходства только подчеркивают различия.

Первые впечатления детства: барки, барки, барки. Барки заполняют Неву, рукава Невы, каналы. Барки с дровами, с кирпичом. Катали выгружают барки тачками. Быстро, быстро катят их по железным полосам, вкатывают снизу на берег. Во многих местах каналов решетки раскрыты, даже сняты. Кирпичи увозят сразу, а дрова лежат сложенными на набережных, откуда их грузят на телеги и развозят по домам. По городу расположены на каналах и на Невках дровяные биржи. Здесь в любое время года, а особенно осенью, когда это необходимо, можно купить дрова. Особенно березовые, жаркие. На Лебяжьей канавке у Летнего сада пристают большие лодки с глиняной посудой – горшками, тарелками, кружками, – а бывают и игрушки, особенно любимы глиняные свистульки. Иногда продают и деревянные ложки. Все это привозят из района Онеги. Лодки и барки чуть-чуть покачиваются. Нева течет, покачиваясь мачтами шхун, боками барж, яликами, перевозящими через Неву за копейку, и буксирами, кланяющимися мостам трубами (под мостом трубы полагаюсь наклонять к корме). Есть места, где качается целый строй, целый лес: это мачты шхун – у Крестовского моста на Большой Невке, у Тучкова моста на Малой Неве.

Есть что-то зыбкое в пространстве всего города. Зыбка поездка в пролетке или в извозчичьих санках. Зыбки переезды через Неву на яликах (от Университета на противоположную сторону к Адмиралтейству). На бульжной мостовой потряхивает. При въезде на торцовую мостовую (а торцы были по «царскому» пути от Зимнего к Царскосельскому вокзалу, на Невском, обеих Морских, кусками у богатых особняков) потряхивание кончается, ехать гладко, пропадает шум мостовой.

Барки, ялики, шхуны, буксиры снуют по Неве. По каналам барки проталкивают шестами. Интересно наблюдать, как два здоровых молодца в лаптях (они упористее и, конечно, дешевле сапог) идут по широким бортам барки от носа к корме, упираясь плечом в шест с короткой переключкой для упора, и двигают целую махину груженной дровами или кирпичом барки, а потом идут от кормы к носу, волоча за собой шест по воде. И снова повторяют свою прогулку от носа до кормы.

Архитектура заслонена. Не видно реки и каналов. Не видно фасадов за вывесками. Казенные дома в основном темно-красного цвета. Стекла окон поблескивают среди красных дворцовых стен: окна мылись хорошо, и было много зеркальных окон и витрин, полопавшихся впоследствии во время осады Ленинграда. Темно-красный Зимний, темно-красный Генеральный штаб и здание Штаба гвардейских войск. Сенат и Синод красные. Сотни других домов красные – казарм, складов и различных «присутственных мест». Стены Литовского замка красные. Эта страшная пересыльная тюрьма – одного цвета с дворцом. Только Адмиралтейство не подчиняется, сохраняет самостоятельность – оно желтое с белым. Остальные дома также выкрашены добротной, но в темные тона. Трамвайные провода боятся нарушить «право собственности»: они не крепятся к стенам домов, как сейчас, а опираются на трамвайные столбы, заслоняющие улицы. Что улицы! – Невский проспект. Его не видно из-за трамвайных столбов и вывесок. Среди вывесок можно найти и красивые, они карабкаются по этажам, достигают третьего – повсюду в центре: на Литейном, на Владимирском. Только площади не имеют вывесок, и от этого они еще огромнее и пустынее. А в небольших

улицах висят над тротуарами золотые булочные крендели, золотые головы быков, гигантские пенсне и пр. Редко, но висит сапог, ножницы. Все они огромные. Это тоже вывески. Тротуары перегорожены подъездами: козырьками, держащимися на металлических столбиках, опирающихся на противоположный от дома край тротуара. По краю тротуара нестройные ряды тумб. У очень многих старых зданий встречаются вместо тумб вкопанные старинные пушки. Тумбы и пушки оберегают прохожих от наезда телег и пролетов. Но все это мешает видеть улицу, как и керосиновые фонари единого образца с перекладной, к которой прислоняют фонарщики свои легкие лесенки, чтобы зажечь, потушить, снова зажечь, потушить, заправить, почистить.

В частые праздники – церковные и «царские» – вывешиваются трехцветные флаги. На Большой и Малой Морских трехцветные флаги свешиваются на перетянутых через улицы от дома к противоположному канатах.

Но зато какие красивые первые этажи главных улиц. Парадные двери содержатся в чистоте. Их полируют. У них красивые начищенные медные ручки (в Ленинграде их сняли в 20-е годы в порядке сбора меди для Волховстроя). Стекла всегда чистые. Тротуары чисто метут. Они украшены зелеными кадками или ведрами под водосточными трубами, чтобы дождевая вода меньше выплескивалась на тротуары. Дворники в белых передниках выливают из них воду на мостовую. Из парадных изредка появляются швейцары в синих с золотом ливреях – передохнуть свежим воздухом. Они не только в дворцовых подъездах – но и в подъездах многих доходных домов. Витрины магазинов сверкают чистотой и очень интересны – особенно для детей. Дети оттягивают ведущих их за руки мам и требуют посмотреть в игрушечных магазинах оловянных солдатиков, паровозики с прицепленными вагончиками, бегущие по рельсам. Особенно интересен магазин Дойникова в Гостином дворе на Невском, славящийся большим выбором солдатиков. В окнах аптек выставлены декоративные стеклянные вазы, наполненные цветными жидкостями: зелеными, синими, желтыми, красными. По вечерам за ними зажигают лампы. Аптеки видны издали.

Особенно много дорогих магазинов по солнечной стороне Невского («солнечная сторона» – это почти официальное название четных домов Невского). Запомнились витрины магазина с поддельными бриллиантами – Тэта. Посередине витрины устройство с вечно крутящимися лампочками: «бриллианты» сверкают, переливаются.

Асфальт – это теперь, а раньше – тротуары из известняка, а мостовые булыжные. Известняковые плиты добывались с большим трудом, но зато выглядели красиво. Еще красивее огромные гранитные плиты на Невском. Они остались на Аничковом мосту. Многие гранитные плиты перенесены сейчас к Исаакию. На окраинах бывали тротуары из досок. Вне Петербурга, в провинции, под такими деревянными тротуарами скрывались канавы, и, если доски изнашивались, можно было угодить в канаву, но в Петербурге даже на окраинах тротуары с канавами не делались. Мостовые по большей части были булыжные, их надо было держать в порядке. Летом приезжали крестьяне подрабатывать починкой булыжных мостовых и сооружением новых. Надо было подготовить грунт из песка, утрамбовать его вручную, а потом вколачивать тяжелыми молотками каждый булыжник. Мостовщики работали сидя и обматывали себе ноги и левую руку тряпками, случайно можно было попасть себе молотком по пальцам или по ногам. Смотреть на этих рабочих без жалости было невозможно. А ведь как красиво подбирали они булыжник к булыжнику, плоской стороной кверху. Это была работа на совесть, работа художников в своем деле. В Петербурге булыжные мостовые были особенно красивы: из разноцветных обкатанных гранитных камней. Особенно нравились мне булыжники после дождя или поливки. О торцовых мостовых писалось много – в них также была своя красота и удобство. Но в наводнение 1924 года они погубили многих: всплыли и потащили за собой прохожих.

Цвет конок и трамваев легко забудется. Цветной фотографии еще не было, а на картинах они не так часто изображались: поди ищи! Конки были довольно мрачные по цвету: темно-сине-серые с серыми деталями. А трамваи очень оживляли город: они были покрашены в красный и желтый цвет, и краски были всегда яркие и свежие.

Сперва трамваи ходили по одному, прицепных не было. Оба конца не различались, и на обоих было поставлено управление. Доехав до конечной станции, кондуктор сходил с передней площадки, снимал снаружи большой белый круг, означавший перед, и переносил его назад; там ставил. Во время Первой мировой войны понадобились прицепные вагоны: население увеличилось. Вагоны конки переделывались: снимались империалы и перекрашивались в желтый и красный цвет, и их прицепляли к моторным вагонам, вскоре исчезли и белые круги для обозначения передней части: перед был виден и так. Но ехать в прицепном вагоне было неприятно: в нем трясло, скорость для них была необычной, и плохо закрепленные стекла отчаянно дребезжали.

Кстати, площадки трамваев были открытыми: летом ехать – удовольствие, зимой – холодно. Но все военные и революционные годы пассажиры набивались в вагоны, висели на ступеньках, держась за поручни, висели на «колбасе» и иногда разбивались о трамвайные столбы.

Звуки Петербурга! Конечно, в первую очередь вспоминаешь цоканье копыт по булыжной мостовой. Ведь и Пушкин писал о громе Медного Всадника «по потрясенной мостовой». Но цоканье извозчичьих лошадей было кокетливо-нежным. Этому цоканью мастерски умели подражать мальчишки, играя в лошадки и щелкая языком. Игра в лошадки была любимой игрой детей. Цоканье копыт и сейчас передают кинематографисты, но вряд ли они знают, что звуки цоканья были различными в дождь и в сухую погоду. Помню, как с дачи, из Куоккалы, мы возвращались осенью в город и площадь перед Финляндским вокзалом была наполнена этим «мокрым цоканьем» – дождевым. А потом – мягкий, еле слышный звук катящихся колес по торцам и глуховатый «вкусный» топот копыт по ним же – там, за Литейным мостом. И еще покрикивание извозчиков на переходящих улицу: «Э-эп!». Редко кричали «берегись» (отсюда – «брысь»): только когда лихач «с форсом» обгонял извозчичью пролетку. Ломовые, размахивая концом вожжей, угрожали лошадям (погоняли их) с каким-то всасывающим звуком. Кричали газетчики, выкликали названия газет, а во время Первой мировой войны и что-нибудь из последних новостей. Приглашающие купить выкрики («пирожки», «яблоки», «папиросы») появились только в период нэпа.

На Неве гудели пароходы, но характерных для Волги криков в рупоры в Петербурге не было: очевидно, было запрещено. По Фонтанке ходили маленькие пароходики Финляндского пароходного общества с открытыми машинами. Виден был кочегар. Тут и свист, и шипение пара, и команды капитана.

Одним из самых «типичных» уличных звуков Петербурга перед Первой мировой войной было треньканье трамваев. Я различал четыре трамвайных звонка. Первый звонок – перед тем как трамваю тронуться. Кондуктор (до войны – всегда мужчина в форме) на остановках выходил с задней площадки, пропускал всех садящихся вперед, сам садился последним и, когда становился на ступеньку вагона, дергал за веревку, которая шла от входа к звонку у вагоновожатого. Получив такой сигнал, вагоновожатый трогал вагон. Эта веревка шла вдоль всего вагона по металлической палке, к которой были прикреплены кожаные петли, за них могли держаться стоящие в трамвае. В любом месте трамвая кондуктор мог позвонить вагоновожатому. И это был второй тип звонка. Вагоновожатый предупреждал неосторожных прохожих с помощью еще одного звонка, действовавшего от ножной педали. Здесь вагоновожатый звонил иногда довольно настойчиво, и звук этот часто слышался на улицах с трамвайными линиями. Потом появились и электрические звонки. Довольно долго ножные педальные звонки действовали одновременно с ручными электрическими. Грудь

кондуктора была украшена многими рулонами с разноцветными билетами. Билеты разных цветов продавались по «станциям» – на участки пути, и, кроме того, были белые пересадочные билеты, с которыми можно было пересест в определенных местах на другой маршрут. Все эти маршруты указаны в старых путеводителях по Петербургу. Время от времени, когда кончался тот или иной отрезок пути и надо было брать новый билет, кондуктор громко возглашал на весь вагон: «Желтым билетам станция!», или «Зеленым билетам станция!», или «Красным билетам станция!». Интонации этих «возглашений» запомнились мне на всю жизнь: в школу я ездил на трамваях.

Очень часто были слышны на улицах звуки военных оркестров. То полк шел по праздникам и воскресным дням в церковь, то хоронили генерала; ежедневно шли на развод караула к Зимнему преображенцы или семеновцы. На звуки оркестра сбегались все мальчишки: потребность в музыке была большая. Особенно интересно было, когда выделенные для похорон войсковые подразделения возвращались с кладбища: тогда полагалось играть веселую музыку. С веселыми маршами шли и в церкви, но, разумеется, не в Великий пост. Были и «тихие звуки»: звенели шпоры военных. За звоном своих шпор офицеры следили. Шпоры часто делались серебряными. На Невском и на прилегающих улицах (особенно у Гостиного на углу Невского и Садовой) торговцы продавали детям надутые легким газом взлетающие шарики; красные, зеленые, синие, желтые и самые большие – белые с нарисованными на них петухами. Около этих продавцов всегда царил оживление. Продавцов было издали видно по клубившимся над их головой связкам веселых шариков.

В моем детстве на улицах уже не продавали сбитень, но отец помнил и любил рассказывать о сбитне. Он хорошо подкреплял прохожих, особенно в мороз. Сбитенщик закутывал самовар в особый ватник, чтобы не остыл, и носил его на спине, а кран открывал из-под левого локтя. Сбитень – это смесь кипятка с медом и разными специями, чаще всего с корицей. По словам отца, сбитенщики в старину кричали: «Сбитню горячего!» Я запомнил со слов отца: не «сбитня», а именно «сбитню».

А по утрам с окраин города, особенно с Выборгской стороны, доносились фабричные гудки. Каждый завод можно было узнать по гудку. Гудели три раза, созывая на работу, – не у всех дома были часы. Эти гудки были тревожными, призывными...

Зимой – самые элегантные сани с вороными конями под темной сеткой, чтобы при быстрой езде в седоков не летели комья снега из-под копыт. Простые извозчичьи сани были тоже красивыми.

Как ребенка, меня всегда тянуло заглянуть за фасады домов: что там? Но об этом я больше узнавал из рассказов взрослых.

Магазины, впрочем, помню – те, в которые заходил с матерью: «колонияльные товары» (кофе, чай, корица, еще что-то), «бакалея», «суровский магазин» (ткани, нитки), «булочные», «кондитерские», «писчебумажные». Слова «продукты» в нынешнем значении не было («продукты» – только продукция чего-то; «продукты сельского хозяйства» стали говорить на моей памяти). На рынок ходили за «провизией». Продавцы назывались приказчиками. Помню дисциплину этих приказчиков в магазине «Масло». Стояли они на шаг назад от прилавка, заложив руки за спину. При появлении покупателя приказчик делал шаг ему навстречу и опускал руки. Это невольно заставляло покупателя к нему подойти. Масло и сыр давали пробовать на кончике длинного ножа.

Первые кинематографы. Совсем забыли, что на узкой Офицерской против нашего дома был кинематограф «Мираж». Он был сделан из нескольких магазинов, соединенных вместе. Но по субботам мы всей семьей ездили на Невский в кинематограф «Солейль». Он помещался в том же доме, что и «Пассаж», – около Садовой. Этот кинематограф был сделан из нескольких квартир, соединенных вместе. Кроме основной картины (помню «Сто дней Наполеона», «Гибель „Титаника“») – это документальный фильм, оператор снимал всю паро-

ходную жизнь и продолжал снимать кораблекрушение до того момента, когда погас свет, а потом снимал даже в спасательной лодке) обязательно давалась комическая (с участием Макса Линдера, Мациста и др.) и «видовая». Последняя раскрашивалась часто от руки – каждый кадр, и непременно в яркие цвета: красный, зеленый – для зелени, синий – для неба. Однажды были на Невском в «Паризиане» или «Пикадилли» – не помню. Поразили камердинеры в ливреях и чуть ли не в париках.

Родители часто брали меня с собой в Мариинский театр. У родителей было два балетных абонеента в ложу третьего яруса. Спектакли были праздниками. На праздничность они и были рассчитаны. Снобы офицеры в антрактах красовались у барьера оркестра, а после спектакля офицеры стояли у артистического выхода перед подъездом, рассматривая дам.

На Страстной и к пасхальной заутрене ходили на Почтамтскую улицу в домовую церковь Главного управления почт и телеграфов, где служил отец столоначальником. Пальто снимали в гардеробе, поднимались на второй этаж. Паркетные полы в церкви были хорошо натерты. Электричество спрятано за карнизы. Лампады горели электрические, и это некоторые ортодоксально настроенные прихожане осуждали. Но отец гордился этим нововведением – это была его инициатива. Когда входила семья (наша или другая), служитель сразу нес венские стулья и ставил позади, чтобы в дозволенных для того местах службы можно было присесть отдохнуть. Позже я узнал, что в ту же церковь ходила и семья Набоковых. Значит, мы встречались с Владимиром. Но он был старше меня.

Неравенство жителей Петербурга бросалось в глаза. Когда возводились дома, строители носили кирпичи на спине, быстро поднимаясь по доскам лесов с набитыми на доски планками вместо ступеней. По черным лестницам доходных домов дворники носили дрова тоже на спине, ловко забирая дрова со специальных козел, стоявших во дворе. Во двор приходили старьевщики-татары, кричали «Халат-халат!». Заходили шарманщики, и однажды я видел «петрушку», удивляясь ненатуральному голосу самого Петрушки (петрушечник вставлял себе в рот пищик, изменявший его голос). Ширма у петрушечника поднималась от пояса и закрывала его со всех сторон: он как бы отсутствовал.

Ходили мы смотреть столетних гренадер из Золотой роты у памятника Николаю I. Это были солдаты, служившие еще Николаю I. Их, оставшихся, собирали со всей России и привозили в Петербург. Ходили мы и на разводы караула к Зимнему. Вся церемония происходила во дворе на специальной платформе, мы ее не видели. Но на развод семеновцы и преображенцы шли с музыкой, игравшей бравурные марши – оглушительно под аркой Генерального штаба, отзывавшейся эхом.

Петербург был городом не только трагической, но и скрытой (во дворцах и за вывесками) красоты. Зимний – сплошь темный ночами (государь с семьей жил в Александровском дворце в Царском Селе). Веселое рококо дворца теряло свою кокетливость, было тяжелым и мрачным. Напротив дворца утопала во тьме крепость-тюрьма. Взметнувшийся шпиль собора – и меч и флюгер одновременно – кому-то угрожал.

Вьющиеся среди регулярно распланированных улиц каналы нарушали государственный порядок города. В Александровском саду против Адмиралтейства существовали разные развлечения для детей (зимой – катания на оленях, летом – зверинец и пруды с золотыми рыбками) среди дворцов, словно под присмотром бонн и гувернанток. Марсово поле пылило в глаза при малейшем ветре, а Михайловский замок словно прищурился одним среди многих единственным замурованным окном комнаты, где был задушен император Павел.

О старом Петербурге вспоминает В. Вейдле в книге «Зимнее солнце». Дом, принадлежавший Вейдле, находился на Большой Морской около арки Генерального штаба. Если идти по левой стороне от арки Генерального штаба, то первый дом № 6 – гостиница «Франция» с рестораном «Малый Ярославец», а дальше французская булочная с круассанами и шоссонами – такими же, как в Париже. Французские булки из Испании – там они тоже назывались

«французскими», но во Франции не пеклись. Затем ювелир Болин со швейцаром. На углу табачная лавочка. Тут же посыльные в красных фуражках. Напротив дом мебельной фабрики Тонет – фабрика венских стульев, легких и удобных.

Перейдя Невский – закусочная Смурова. В бельэтаже – Английский магазин, где продавалось английское темно-бурое глицериновое мыло. На Невском напротив – «Цветы из Ниццы», даже зимой. Наискось от сигар – «Дациаро: поставщик всего нужного для художеств». Над ним – «Генрих Циммерман» (для музыкантов). Посредине, возле окон второго этажа над улицей на чугунном укрепе «Павел Буре» – часы, показывавшие точное время.

Далее по Большой Морской – ресторан Кюба с тяжелыми кремовыми гардинами. Это, по воспоминаниям Юлии Николаевны Данзас, единственный ресторан такого хорошего тона, что туда можно было пойти приличной даме без сопровождения кавалера. Затем магазин Мюллера – лучших сундуков и саквояжей. В 1916 году драгоценности Эрмитажа решили эвакуировать в чемоданах этой фирмы. Хранитель – барон Фелькерзам.

На гранитной облицовке по Большой Морской было золотыми буквами начертано Faberge. Напротив – важный портной Калина. Далее Большая Морская встречалась с Мойкой Реформатской киркой (перестроена ныне в Дом связи).

М. Добужинский пишет в своих «Воспоминаниях», что его жена «была одета с «петербургским» вкусом в темно-синее, носила маленькую изящную шляпку с вуалькой в черных мушках и белые перчатки». «Часто на улицах я видел, – продолжает Добужинский, – как она обращает на себя внимание, выделяясь среди старомодных немок, как „иностранка“». О петербургских элегантных дамах пишет и Вадим Андреев в своих воспоминаниях «Отец». Рассказывал мне о них с восхищением и известный библиограф А. Г. Фомин. Он особенно подчеркивал изящество походки. Когда я был в Белграде в 1964 году, профессор Радован Лалич указал мне на одну пожилую даму: «Сразу видна русская из Петербурга». Почему «сразу»? Держалась очень прямо и имела прекрасную легкую походку.

Ночная жизнь была типична для петербургской интеллигенции: петербургский postambulisme («лунатизм»). «Монд» ложился не ранее трех часов ночи. Редко поднимались раньше 11 утра. Процветали ночные кабачки, и «Бродячая собака» в особенности. Здесь было «le rendezvous des distingues» («встреча избранных»).

Годы 1917–1950-е запомнились мне своими темными и скучными красками. Дома если и красились, то уже в один цвет, орнамент не выделялся цветом, да и не чинился. Не стало красивых форм у военных. Люди ходили оборванные и во всем старом, хотя бы и имели новое, но новое было носить опасно – как бы не приняли за «буржуев». По этой же причине не носили белых воротничков, а по большей части надевали в годы Первой мировой и гражданской подобие френчей, сшитых иногда из самой «невоенной» материи, а еще чаще перешитых из старых пиджаков, сюртуков, визиток и прочей «буржуйской» одежды. Во время Первой мировой войны носили бекеши. Помню Шаляпина, садившегося в трамвай на Введенской – угол Большого проспекта Петроградской стороны; и то я запомнил его не потому, что впервые увидел «знаменитость», а потому, что бекеша Шаляпина была необычного цвета – синяя.

Когда в тридцатых годах мне рассказали, что за границей легковые автомобили имеют разные цвета и можно встретить даже красные, желтые, голубые, я как-то не мог себе это представить – настолько я привык ко всему черному в автомобильном хозяйстве.

Когда перед самым арестом я заказал себе костюм за сорок рублей (а это были в 1927 году большие деньги, заработанные мною на подборке книг для Фонетического института иностранных языков, которым ведал тогда в частном порядке Семен Карлович Боянус – мой учитель английской фонетики), то передо мной был выбор – только черный или темно-синий. И я заказал себе темно-синий, оказавшийся по получении его просто черным. Я так

его ни разу и не надел. Носил его мой брат Юра. По возвращении же из лагеря родители купили мне грубошерстный черный костюм, в котором я проходил до окончания войны.

Темно-коричневая толстовка, остальное все черное, поношенное, с темными рубашками. И бритвы у меня не было, а стриг я бороду сохранившейся с дореволюционных времен машинкой под два нуля... Таковы были цвета трех десятилетий нашей советской жизни.

Погода в Петербурге менялась очень часто и всегда сопровождалась каким-то особым настроением. Зимой то тихо падает снег, то завивается или бурно мчится, то мокрыми хлопьями, то сухой крупой, то сечет лицо холодом, то нежно его остужает.

Летом духота и жара делают человека слабым и безразличным – прохожие приостанавливаются, стоят без видимой цели и заботы. Лошади падают от солнечных ударов. Собирается гроза, и гром гулко сотрясает железные крыши домов. Нева меняет окраску: из спокойно текущей ощеривается темной рябью.

Никогда не бывает город так гордо красив, как весной, особенно когда цветет наполняющая его сады и парки сирень, когда-то в Петербурге столь обильная и пышно богатая.

Ранней осенью в безветренные солнечные дни воздух прозрачен и на Неве видна каждая деталь, а под вечер дома и дворцы на Неве кажутся аппликациями, вырезанными из бумаги и наклеенными на синий картон неба.

Погода постоянно обращена к человеку. Она о нем помнит, создает ему настроение. Петербург кажется гигантской театральной сценой, «постановочным пространством» для самых больших исторических трагедий, а иногда и комедийных импровизаций.

Все это я пишу, осмысливая свои детские впечатления, в которых перемены погоды занимают особое место, ибо родители бдительно следят за тем, как я одеваюсь, выходя на улицу.

То нужен башлык, и башлык можно повязать по-разному – стоячком или просто за спину, а то и обмотать вокруг шапки и шеи. Иногда галоши надо сменить на ботики, надеть гамашки или теплые чулочки. Все зависит от погоды. Петербург живет погодой больше, чем любой другой город России. Выходишь в одну погоду, а возвращаешься в другую.

Изменилась ли погода в Петербурге со времен моего детства? Что называть погодой? Если в погоду включать снег и его поведение на мостовой, тротуарах, крышах, то изменилась. Если в погоду включать дым из множества труб, когда-то поднимавшийся вертикально в низкое осеннее небо (и наоборот, в очень высокое зимой) или гонимый ветром над крышами, то этих эффектов погоды сейчас уже нет. Не топятся в городе тысячи кафельных печей и больших кухонных плит, не разжигаются самовары, меньше дымят трубы заводов и нет паровых дымов. Другим стал запах уличного воздуха, даже его ощущение лицом. Десятки тысяч лошадей, обдававших прохожих своим теплом, как это ни странно, делали воздух города менее «официальным». Я не оговорился: именно «менее официальным», менее безразличным к человеку.

В «Поэме без героя» Ахматовой удивительно передана маскарадная атмосфера Петербурга, в немалой степени зависевшая от погоды города, таинственной в своих изменениях и тончайших нюансах.

Об интеллектуальной топографии Петербурга первой четверти XX века²

Интеллектуальная жизнь Петербурга слабо, но касалась всех, кто жил в его пределах. Поэтому нельзя вспомнить об окружающем, ограничиваясь только тем, что видел и помнишь непосредственно. Невольно культурная жизнь города проникала и в сознание детей, и это будет особенно заметно из последующих глав, в которых я стану писать о своих дачных впечатлениях и встречах, встречах в школе, в университете, в тюрьме, на Соловках. Поэтому сейчас пора попытаться восстановить интеллектуальный Петербург хотя бы внешне в его «интеллектуальной топографии».

Как известно, старые города имели социальную и этническую дифференциацию отдельных районов. В одних районах жила по преимуществу аристократия (в дореволюционном Петербурге аристократическим районом был, например, район Сергиевской и Фурштадтской), в других – мелкое чиновничество (район Коломны), в третьих – рабочие (Выборгская сторона и другие районы заводов, фабрик и окраины). Довольно компактно жили в Петербурге немцы (Васильевский остров: см. роман Н. Лескова «Островитяне»; немцы населяли отдельные пригороды – Гражданку, район Старого Петергофа, район в Царском Селе и пр.). Этими же чертами отличались и дачные местности (например, на Сиверской жило богатое купечество; квалифицированные мастеровые жили на даче с дешевым пароходным сообщением – по Неве, а также на Лахте, в Келомьяках около Сестрорецкой узкоколейной железной дороги и пр.). Были районы книжных магазинов и «холодных букинистов» (район Литейного проспекта, где со времен Н. А. Некрасова располагались и редакции журналов), кинематографов (Большой проспект Петербургской стороны) и др.

Социальной и национальной топографии Петербурга посвящено довольно много очерков, выросших на основе «физиологических очерков» в середине XIX века и продолжавших появляться вплоть до 1917 года.

Обращает на себя внимание попытка Н. В. Гоголя в повести «Невский проспект» обрисовать смену социального лица Невского проспекта в разные часы дня и ночи.

Моя задача состоит в том, чтобы наметить наличие в Петербурге в первой четверти XX века районов различной творческой активности.

Четкая «интеллектуальная граница» пролегалa в Петербурге первой четверти XX века по Большой Неве. По правому берегу, на Васильевском острове, располагались учреждения с традиционной академической научной и художественной направленностью – Академия наук с Пушкинским Домом, Азиатским музеем, Кунсткамерой, где находилась и Библиотека Академии наук, являвшейся в те годы значительным научным центром, Академия художеств, Университет, Бестужевские курсы и... ни одного театра, хотя именно здесь, на Васильевском острове, на Кадетской линии с 1756 года стал существовать первый профессиональный театр – Театр Шляхетского корпуса, – того корпуса, где учились М. М. Херасков, Я. Б. Княжнин, В. А. Озеров и другие. Характерно, что вся эта линия научных учреждений по правой стороне Невы открывалась длинной линией одного из самых знаменитых научных учреждений России – Военно-медицинской академии.

Иным был интеллектуальный характер левого берега Большой Невы. Здесь в соседстве с императорскими дворцами и особняками знати нашли себе место не только императорские театры, кстати сказать, не чуждые экспериментов (достаточно напомнить интенсивную

² В составлении этих заметок большую помощь оказал Е.Ф. Ковтун, которому приношу глубокую благодарность. Им, в частности, сообщены мне основные факты относительно «Дома Мятлевых» и других творческих центров Петербурга, связанных с художественной жизнью.

балетную деятельность Мариинского театра, постановки В. Э. Мейерхольда в Мариинском и Александринском театрах, театральную активность Малого драматического театра на Фонтанке и Михайловского театра в начале 20-х годов). На левом берегу Большой Невы на Большой Морской находился и выставочный зал Общества поощрения художеств. У Таврического сада существовала знаменитая «Башня» Вячеслава Иванова с журфиксами, на которых бывал весь интеллектуальный Петербург и даже осуществлялись небольшие постановки и интересные выступления. На Литейном проспекте ее сменил известный «Дом Мурузи», где собирались поэты. На Надеждинской (теперь Маяковского) располагался Союз поэтов. На Троицкой улице функционировал «Зал Павловой», где выступал Маяковский. На Моховой улице в зале Тенишевского училища происходили дискуссии, в частности формалистов с «академистами». В зале Городской думы выступали поэт А. Туфанов и художник К. С. Малевич и были, если не ошибаюсь, постановки Экспериментального театра. В Калашниковской бирже выступал Маринетти по приезду в Петербург. Городская дума и Соляной городок были центрами интеллектуальной активности с конца XIX века. У Нарвских ворот были выступления Молодежного экспериментального театра. На том же левом берегу Большой Невы в 1909–1911 годах существовал театрик «Голубой Глаз», где впервые была поставлена «Незнакомка» А. Блока. Некоторое время существовало артистическое кабаре «Летучая мышь» (см.: К у г е л ь А. «Артистические кабачки»//«Театр и искусство». 1906. № 33). Значительную роль играл на левом берегу Драматический театр В. Ф. Коммиссаржевской (1904–1910), в обиходе называвшийся «Театром на Офицерской». В другом «Театре на Офицерской», располагавшемся на пустыре в деревянном строении, была осуществлена постановка оперы «Победа над солнцем» (Крученых, Малевич, Матюшин). На левом же берегу существовало возглавлявшееся А. Р. Кугелем «Кривое Зеркало» (1908–1910–1918; возобновлено в 1922–1928), кроме того, «Старинный театр» (1911–1912). Напомним и о знаменитом артистическом кабаре на Михайловской площади – «Бродячая собака» (1910–1912) и сменившем «Собаку» «Привале комедиантов» на Марсовом поле. Там же, на Марсовом поле, существовало «Художественное бюро» Н. Е. Добычиной, где были художественные выставки и первое выступление супрематизма в 1915–1916 годах. Почти все выставки «Союза молодежи», в которых участвовали и петербургские и московские молодые художники, проходили на левом берегу – главным образом, в районе Невского проспекта.

К институтам, находившимся на Исаакиевской площади, мы еще вернемся. Возвращаясь же к правобережной части Большой Невы, отметим, что на Петербургской стороне, помимо улицы кинематографов – Большого проспекта и Народного дома со случайной, эпизодической творческой активностью, существовал Каменноостровский проспект с сетью ресторанов дурного вкуса, преимущественно для «фармацевтов» (так называли в «Собаке» богатых буржуазных посетителей): «Аквариум», «Вилла Эрнест», «Вилла Родэ» (последний – ресторан с цыганами на отрезке Каменноостровского уже в Новой Деревне). Все эти мелкие заведения только подчеркивали отсутствие на Петербургской стороне большой художественной жизни. Из немногих поздних интеллектуальных исключений на Петроградской стороне – это дом художника Михаила Матюшина и Елены Гуро на Песочной улице на левом берегу Малой Невы. Здесь бывали Филонов, Крученых, Бурлюки и многие другие. На Большой Пушкарской улице интерес представляло в начале 20-х годов «Общество художников», помещавшееся в деревянном доме с выставочным помещением, где была, кстати, выставка П. Н. Филонова (среди произведений последнего помню знаменитую картину «Формула пролетариата»).

Представляется любопытным и следующий факт. А. А. Блок ни разу, по всем данным, в отличие от Л. Д. Блок не бывал в «Бродячей собаке». Зато его любимыми прогулками, даже после переезда на Офицерскую, были по Большой Зелениной с мостом, ведущим на Крестовский остров (здесь, на Большой Зелениной улице, происходит действие его «Незнакомки»

и, как утверждает Л. К. Долгополов, действие «Двенадцати»; см. факсимильное переиздание: Александр Блок. «Двенадцать» / Рисунки Ю. Анненкова. Петербург: Алконост, 1918. С. 5 и далее). Местом любимых прогулок Блока являлись Новая Деревня, Лесной, Парголово, Озерки, но не дальше устья Сестры-реки (о северном берегу Финского залива – ниже). Блок не любил изысканно интеллектуальной публики.

Теперь перейдем к самому важному для литературоведов и искусствоведов факту. На левом берегу Невы на Исаакиевской площади располагались два центра интеллектуальной жизни Петербурга-Ленинграда: Институт истории искусств (в разговорном названии – «Зубовский институт») и через дом от него на углу Почтамтской улицы – «Дом Мятлевых». История и значение Института истории искусств достаточно хорошо известны и в данных заметках не нуждаются в освещении. Между тем не менее важен для интеллектуальной жизни города «Дом Мятлевых», история которого за первые годы Советской власти известна литературоведам мало.

Вот некоторые факты. В «Доме Мятлевых» в 1918 году был организован Отдел народного просвещения, вошедший затем в состав Комиссариата народного просвещения до переезда Советского правительства в Москву. Здесь бывал и А. В. Луначарский. Тогда же усилиями Н. И. Альтмана здесь был создан первый в мире Музей художественной культуры (открыт в 1919 году). В экспозиции находились произведения Кандинского, Татлина, Малевича, Филонова, Петрова-Водкина. На базе музея по инициативе П. Н. Филонова здесь в 1922 году были организованы исследовательские отделы музея. В следующем году отделы были преобразованы в Институт художественной культуры (директором был К. С. Малевич, живший в том же доме с входом с Почтамтской улицы; в его квартире собирались художники и поэты – бывал В. Хлебников, приходили М. Матюшин с Эндерами, поэты-обэриуты; заместителем К. С. Малевича был Н. Н. Пунин). В институте были отделы: Живописной культуры (руководил К. С. Малевич), Материальной культуры (руководил М. В. Матюшин), Отдел общей идеологии (первоначально руководил П. Н. Филонов, его сменил Н. Н. Пунин). Экспериментальным отделом руководил П. А. Мансуров. В 1923 году в «Доме Мятлевых» в годовщину смерти В. Хлебникова была поставлена Татлиным «Зангези» с «хлебниковской» выставкой П. В. Митурича. В 1925 году этот институт, утвержденный Советом народных комиссаров, стал именоваться Государственным институтом художественной культуры ГИНХУК (не смешивать с московским ИНХУКом).

В 1926 году в институте была организована последняя художественная выставка, на которую пришел некий критик Серый (Гингер) и, возмущенный недружелюбным приемом Татлина (последний, стоя в дверях, не пропустил Серого, явившегося на следующий день переодетым), выступил с грубой и несправедливой критикой в газете. В конце того же, 1926 года, институт был закрыт, Н. Н. Пунин передал материалы музея в Государственный Русский музей, а Н. М. Суетин, А. А. Лепорская, М. В. Матюшин, К. С. Малевич перешли в соседний Институт истории искусств и здесь организовали «Лабораторию изучения формы и цвета».

Из изложенного ясно, что правый и левый берег Большой Невы резко различались между собой в интеллектуальном отношении, настолько, что попытки Ф. Сологуба и А. Чеботаревской организовать на Петербургской стороне собственное артистическое кабаре не увенчались успехом с самого начала.

Впрочем, различие между правым и левым берегом Большой Невы не выходило за пределы ее устья. Правый и левый (южный) берега Финского залива резко расходились по своему значению. На южном (левом) берегу располагались дачные места, где в окружении исторических дворцов жили по преимуществу художники с ретроспективными устремлениями (вся семья Бенуа – Николай, Леонтий, Александр; семья Кавос; Е. Е. Лансере, К. А. Сомов, А. Л. Обер, бывал С. Дягилев и другие). На северном (правом) берегу Финского залива распо-

лагались дачные места, где жила по преимуществу интеллигенция, склонная к творческому бунтарству. В Дюнах жил В. Б. Шкловский. В Куоккале были репинские «Пенаты», вокруг которых группировалась молодежь, жил К. И. Чуковский, были дачи семей Пуни и Анненковых (жили Анненковы на Средней дорожке и дружили с семьей сенатора Сергея Валентиновича Иванова, с которыми мы были общие друзья), жил Горький, жил Кульбин, один год жил А. Ремизов в пансионате около «Мельницы», на Сестре-реке. Взрослые и подростки устраивали празднества, спектакли, писали озорные стихи и пародии. В Териокском театре работали В. Э. Мейерхольд, Н. Н. Сапунов, Л. Д. Блок (о Блоке в Териокском театре см.: Собр. соч. в 8 тт. Т. 7. С. 151 и далее; Т. 8. С. 391 и далее). Нельзя и перечислить всего того, чем примечательны в интеллектуальной жизни России северные дачные места Финского залива.

Вернемся в Петроград.

В 1922 году наметился частичный отход В. М. Жирмунского от Института истории искусств и сближение его с академическим направлением в науке о литературе. В. М. Жирмунский переезжает на Васильевский остров (в Горный институт) и начинает больше преподавать в университете на факультете общественных наук по романо-германской секции. Начались острые расхождения, отразившиеся в дискуссиях в зале Училища Тенишевой на Моховой и в Институте истории искусств. На левом берегу Большой Невы В. М. Жирмунского обвиняли в «академизме».

На титульном листе своей «Мелодики русского лирического стиха», вышедшей весной 1922 года, Б. М. Эйхенбаум написал следующее дарственное стихотворение В. М. Жирмунскому:

Ты был свидетель скромной сей работы.
Меж нами не было ни льдов, ни рек;
Ах, Витя, милый друг! Пошто ты
На правый преселился берег?

Б. Эйхенбаум
2 марта 1922 г.

Книга со стихами Б. М. Эйхенбаума хранится в семье Н. А. Жирмунской. Различие правого и левого берега Большой Невы ясно осознавалось в свое время.

Итак, в городах и пригородах существуют районы наибольшей творческой активности. Это не просто «места жительства» «представителей творческой интеллигенции», а нечто совсем другое. Адреса художников различных направлений, писателей, поэтов, актеров вовсе не группируются в некие «кусты». В определенные «кусты» собираются «места деятельности», куда тянет собираться, обсуждать работы, беседовать, где обстановка располагает к творческой откровенности (прошу извинения за это новое вводимое мной понятие), где можно было быть «без галстука», быть во всех отношениях расторможенным и в своей среде.

Примечательно, что тяга к творческому новаторству возникает там, где появляется группа людей – потенциальных или действительных единомышленников. Как это ни парадоксально на первый взгляд может показаться, но новаторство требует коллективности, сближения и даже признания хотя бы в небольшом кружке людей близкого интеллектуального уровня. Хотя и принято считать, что новаторы по большей части люди, сумевшие подняться над общим мнением и традициями, это не совсем так. К этому стоит приглядеться.

Удивительная «связь времен». Знал ли я, садясь в конке на империал со своей нянькой, чтобы прокатиться в Коломну и обратно, что на остановке против Никольского собора на Екатерингофском я могу заглянуть прямо в окна квартиры Бенуа. Что я буду учиться в стар-

шем приготовительном классе в гимназии Человеколюбивого общества, где первоначально учился и А. Н. Бенуа. Что потом я перейду в гимназию и реальное училище К. И. Мая на Васильевском острове, куда перед тем задолго до меня перешел и он. Что моим любимым местом в Петергофе будет площадка Монплезира со стороны моря, которую и А. Н. Бенуа считал красивейшим местом под Петербургом. Что затем я буду долго и упорно хлопотать об издании в серии «Литературные памятники» его воспоминаний, переписываться с его дочерью Анной Александровной.

И еще. А. Н. Бенуа жил в Лондоне в 1899 году в Boarding place на Montague street, очень вероятно – там же, где я останавливался в 1967 году. Если бы в 1967 г. я это знал, я бы совсем иначе отнесся к своей староанглийской гостинице с Библией, детективами на полочке над кроватью и камином, впрочем, переделанным на газ. В этой же гостинице, по-видимому, останавливался и Владимир Соловьев, когда приезжал в Лондон работать в библиотеке Британского музея.

Все так близко и рядом. Даже в пространстве истории. Ведь А. Н. Бенуа видел в детстве маленького столетнего старичка – пажа Екатерины II, жившего в одном из служебных корпусов Петергофского дворца.

Связи небольшие, слабые, но они есть и они удивительны.

До чего же привлекательны для детей обычаи, традиции! На вербную неделю в Петербург приезжали финны катать детей в своих крестьянских санках. И лошади были хуже великолепных петербургских извозчичьих лошадей, и санки были беднее, но дети их очень любили. Ведь только раз в году можно покататься на «вейке»! «Вейка» по-фински значит «брат», «братишка». Сперва это было обращение к финским извозчикам (кстати, им разрешалось приезжать на заработки только в вербную неделю), а потом сделалось названием финского извозчика с его крестьянской упряжкой вообще.

Дети любили именно победнее, но с лентами и бубенцами – лишь бы «поигрушечнее».

Куоккала

Квартира из пяти комнат стоила половину отцовского жалованья. Весной мы рано уезжали на дачу, отказываясь от квартиры и нанимая в том же районе Мариинского театра осенью. Так семья сэкономила деньги.

Ездили мы обычно в Куоккалу за финской границей, где дачи были относительно дешевы и где жила петербургская интеллигенция – преимущественно артистическая.

Сейчас мало кто себе представляет, какими были дачные местности и дачная жизнь. Постараюсь рассказать о местности, с которой связано мое детство, – о Куоккале (теперь Репино).

В «Спутнике по Финляндии» К. Б. Грэнхагена о Куоккале сказано мало и сухо: «Куоккала (42 килом. от СПб.). Станция находится в одной версте от берега залива. В летнее время местность густо населена дачниками. Однако скученность построек и отсутствие хороших дорог являются крупным недочетом в ряду прочих более или менее удовлетворительных условий дачной жизни. В особенности плохи дороги к северу от ж.-д. станции. Песчаная местность, покрытая сосновым лесом, в общем вполне пригодна для дачной жизни. Имеются лавки, аптека и даже театр. Лучшие дачи расположены вдоль береговой линии и отдаются внаем за высокую плату. Недорогие дачи находятся к северу от ж.-д. станции. Многие из них также заняты зимою. Имеется прав. церковь». Далее мелким шрифтом напечатано любопытное сообщение: «В последние годы русской революции (имеется в виду революция 1905 года. – Д. Л.) здесь находили приют эмигранты, преследуемые русским правительством. Однако после обнаружения в окрестностях Куоккалы (Хаапала) «фабрики бомб» финляндская администрация в силу закона 1826 года пошла навстречу требованиям русских властей, ввиду чего многие эмигранты были арестованы и доставлены в петербургское охранное отделение».

О Куоккале как интереснейшей дачной местности Петербурга я писал и говорил (по телевидению в фильме о К. И. Чуковском «Огневой вы человек»). Здесь жила летом небогатая часть петербургской интеллигенции. Две дачи принадлежали зимогорам Анненковым (из этой дворянской семьи, сыгравшей большую роль в русской культуре, вышел и художник Юрий Анненков); на самом берегу против Куоккальской бухты была дача Пуни³. Владелец ее Альберт Пуни, принявший православие с именем Андрей (поэтому часть его детей были Альбертовичи, а другие – Андреевичи), виолончелист Мариинского театра, был сыном автора балетной музыки и владельцем большого доходного дома на углу Гатчинской улицы и Большого проспекта Петроградской стороны. Его сын стал известным живописцем во Франции (под именем Жан Пюни) и до конца жизни любил писать пляжи, напомиавшие ему о его счастливым детстве.

Уезжая во Францию, Мария Альбертовна оставила нам два гобелена (один с видом Венеции до сих пор цел у нас), Детскую энциклопедию, которую я чрезвычайно любил, миланский кофейник коричневого цвета с чашечками и еще что-то на память.

Была ранняя весна. Пуни заехали в Куоккалу к отцу, и именно тогда Репин подарил отцу Марии Альбертовны ее акварельный портрет в пляжном костюме, пририсовав на нем легкий контур Эйфелевой башни, под сенью которой ей предстояло жить.

Самые счастливые воспоминания детства связаны у меня с пляжем в Куоккале. Как вчерашние, я помню дни, с утра проведенные на пляже у своей будки. Эта будка была непременно

³ Почему-то сейчас принято ставить ударение на последнем слове фамилии Пуни. Но семья эта была итальянской, а не французской. Другая ошибка в имени Петипа: он Мариус, а не Мариус. Его дочь, хорошая знакомая нашей семьи, звалась Мария Мариусовна.

ной принадлежностью сдаваемых дач. Дача сдавалась только целиком. По комнатам нанимать или сдавать дачу никому еще не приходило в голову. И вот весной, как только дачники переезжали на нанятую ими дачу, хозяин водворял будку на воз и вез ее на пляж, где вместе с моим отцом они выбирали место для «нашей» будки. Часто будок было так много, что их выстраивали в два ряда (естественно, что в менее удобном втором ряду ставились будки поздно переехавших на дачу).

В будке хранились шезлонги, купальные костюмы, игрушки. Я больше всего любил игрушечные яхты с килем и парусом. Недолго был у меня и «военный корабль». Его заводили, он отплывал, раздавался выстрел, и он поворачивал к берегу.

2–3 раза эти пускания броненосца мне нравились, но уж очень он был «нереальным». Гораздо больше мне нравилось ставить парус и руль на игрушечной яхте и пускать ее плавать косо к ветру. Море было мелким, и идти за яхточкой можно было долго...

В 12 часов на пляже мы пили молоко, принесенное утром в бутылке и закопанное в прохладный сырой песок позади будки.

Счастьем было наблюдать артиллерийские учения на фортах. Ближе всего в Куоккале был форт «Тотлебен». Мимо него на канате буксир тянул белый щит, хорошо нам видный, по нему артиллеристы стреляли. Попадание нам не было видно, но звук выстрела мне нравился чрезвычайно. Он был несколько приглушен и растянут водой и вместе с гомоном купающихся создавал ту симфонию звуков, которая сливается для меня со звуковыми ассоциациями детства.

Позади будок мы с братом строили окопы и «сражались» друг с другом в обществе товарищей, кидая шишки, намачивая их водой или «приготавливая» их к киданию в сыром песке: чтобы они сложились и летели дальше.

А еще дальше рос прекрасный сосновый лес, над которым возвышался ветряк, не то вырабатывавший электричество, не то наполнявший водой из колодца водонапорную башню богатых соседей дачевладельцев...

А еще мне нравилось делать из высохшего тростника, который прибивало ветром со стороны Петергофа, где он рос, разнообразные «гидропланчики» и пускать их особенно тогда, когда ветер был со стороны берега. «Гидропланчики» уходили в море на большой скорости.

Папу из города встречаем всей семьей.

Мама с куоккальскими дамами сидит на скамейке, а я, как обычно, хожу, балансируя, по рельсине. Рельсовый путь уходит в бесконечность – к Петербургу, откуда должен на поезде приехать отец. Он привезет павловскую гигантскую землянику или еще что-нибудь вкусное, а иногда игрушку: серсо, игрушечную парусную яхточку, заводной пароходик (играть в воде мне особенно нравилось, и сохранилась даже фотография – я на море, по щиколотку в воде, в панамке и коротких штанишках, а у ног парусная игрушечная лодочка).

Жду, смотрю вдаль. И вот появляется мой «человечек»: пузатенький, с большой головой, в юбочке и курит. Это паровоз поезда. Круглое туловище – это котел. Большая голова – труба с раструбом, она дымится. А странная юбочка (паровоз, несомненно, мужчина, господин) – это предохранительная сетка, расширяющаяся книзу, к рельсам.

Приближается. Тонко, на заграничный лад, свистит (русские паровозы гудят басом, как пароходы). Потом подкатывает, работая колесами (любимая игра детей моего, пятилетнего, возраста – изображать собой паровоз, двигая локтями, как поршнями). Тянутся вагоны – синие, зеленые и красные, но значение цветов другое, чем русских. Сейчас я уже точно не помню. Кажется, синие вагоны – первого класса. Из синих вагонов выходят первыми финские кондукторы в черной форме, становятся у лесенки и помогают пассажирам выходить. Появляется отец и, целуя маму, рассказывает, с кем ехал. Однажды в окне вагона мне показали барона Мейерхольда, он ехал дальше, в Териоки. Чудится, что я его запомнил, и

запомнил именно как барона. Как барона его знали и средние дачники – инженеры, чиновники. Другие дачники и зимогоры были художниками: Пуни, Анненковы, Репины и другие. Почему-то они представлялись мне другой породы – итальянцами, брюнетами, заводилами разных забав. Постепенно все разъезжаются на финских двуколках. Несутся двуколки с быстротой ветра, а если пассажиров несколько, финн-хозяин стоит на оси колеса и управляет с ловкостью циркача. Но главное – скорость.

Вечером, когда приезжал со службы из Петербурга отец, мы обедали, я бежал через Большую дорогу (теперь – Приморское шоссе) в ларек к его владелице, пожилой вдове, покупал у нее семечек и сосательных финских конфет, возвращался, и мы шли гулять по берегу. Семечки мы не лушили, а чистили ногтями (теперь так никто не делает), а отец задавал нам загадки. Одна из них была такая: он точно указывал, не смотря на Толбухин маяк, – когда маяк зажигался и когда гас. Сперва я думал, что он делает это по отражению в своем пенсне, но отец снимал пенсне и все же угадывал! Просто он отсчитывал время – знал периодичность его вспыхивания.

На границе с Оллилой (ныне Солнечное) были репинские «Пенаты». Около «Пенат» построил себе дачу К. И. Чуковский (помог ему в этом – и деньгами, и советами – И. Е. Репин). На мызе Лентулла по Аптекарской дорожке (теперь ее именуют Аптекарской аллеей) жил Горький. В те или иные летние сезоны жил Маяковский, наезжал Мейерхольд, жил художник и врач Кульбин (он, кстати, лечил и меня), приезжали к Репину Леонид Андреев, Шаляпин и многие другие. Некоторых я встречал на Большой дороге – главной улице Куоккалы – и в чудесном общедоступном парке сестер Ридингер, о котором не удосужился упомянуть автор цитировавшегося мною выше путеводителя. По вечерам мы гуляли либо по самому берегу залива, по сырому укатанному волнами песку, либо по бетонной дорожке, которая шла к глубине пляжа около заборов выходивших к морю дач.

Куоккальские дачи имели заборы всегда деревянные и всегда различные, пестро окрашенные. У заборов останавливались разносчики и финские возки: «Молоко, метана, ливки» (финны не произносили двух согласных звуков в начале слова: только второй). Разносчики часто бывали ярославцы, торговавшие зеленью, булками, пирожными. Корзинки с товарами носили на голове, подкладывая мягкий круг. Цыгане били в котел и кричали: «Лудить, паять...» – и еще что-то третье, что – я уже забыл. За пределами дачной местности часто стоял цыганский табор. Работали честно и честно возвращали заказы.

Если погода безветренная, особенно утром – в предвестии жары, то, прислушавшись, на берегу можно было слышать как бы басовитые гудки: у-у-у, у-у-у, у-у-у! Это в Куоккале слышен на пляже звон большого колокола Исаакиевского собора. Звонят во все колокола, но слышен только большой, самый большой в городе. И в определенный час, пока еще пляж не наполнится людьми, мы бегали к морю послушать Исаакий.

Море становилось торжественным и значительным, когда через воду долетал еле слышный звук тяжелого колокола Исаакия. С тех пор я знаю, что такое «пуститься во все тяжкие». И я запомнил двойное значение этого выражения: мы бежали к морю «во все тяжкие» и слышали «тяжкий» колокол Исаакия.

А днем в жару пляж гудел, как улей, роем детских голосов, радостных, испуганных, когда окунались, озорных при игре, но всегда приглушенных водой, расплывающихся, нерезких. Эта музыка пляжа слышна и сейчас, и до сих пор я ее очень люблю.

Что за чудо веселья, развлечений, озорства, легкости общения, театральных и праздничных экспромтов была эта Куоккала!

Куоккала была царством детей. На пляже слышался гомон детских голосов. К морю уходили на целый день, брали с собой молоко и завтрак, пропуская обеденное время, принятое зимой, – в час. У каждой дачной семьи, как я уже сказал, была своя будка, часто своя лодка. От пляжа в море шли мостки, с которых было весело кувыркаться в воду. Мостки

были и частные, и общественные – за деньги. По воскресеньям на пляже где-нибудь играл оркестр: это означало, что было благотворительное представление. Представления были и в куоккальском театре. Небольшой оркестрик из четырех отставных немецких солдат ходил по улицам Куоккалы, останавливался перед какой-нибудь дачей и начинал играть – начинал с «Ойры», любимой финнами песенки. Если им махали рукой, они прекращали игру, но часто мы просили их записать – в какой день прийти, играть танцы на дне рождения или на именинах, когда собирались дети со всей округи.

В дни рождения и именин детей обычно иллюминировали сад китайскими фонариками, обязательно жгли фейерверк; впрочем, Горький на своей даче зажигал не только фейерверки, но и просто костры без всякого повода. Он любил огонь.

Покупали фейерверки в пиротехническом магазине под Городской думой на Невском. На такие веселые вечера сбегались дети со всех дач.

Дети бегали веселыми стайками по Куоккале и продавали благотворительные значки (в день Ромашки – в пользу туберкулезных, во время Первой мировой войны – в пользу раненых).

Интересы детей, их развлечения господствовали. Взрослые с удовольствием принимали участие в детских играх. Дух озорства проявлялся в местном театре, где выступал иногда и Маяковский, читали Репин, Чуковский, ставились подростками фарсы. Мальчишки пели озорные песни про пупсика, «большую крокодилу», матчиш. И дети, и взрослые (иногда вместе, разновозрастными компаниями, а иногда небольшими группами) ходили на длинные прогулки. Раз в лето непременно ходили на музыку в Сестрорецкий курорт (выходили очень рано утром). Чаще ходили «на мельницу»: на Сестре-реке была мельничная запруда (там жил как-то на даче А. Ремизов). «Мельница» (так мы называли всю местность) казалась мне красивейшим местом в мире. Молодежь ездила туда компаниями на велосипедах.

Вот в этой обстановке расцветала озорная живопись, озорное сочинительство (песни и стихи), по преимуществу для детей. Без этого детского и юношеского озорства нельзя понять многое в Чуковском, в Репине, в Пуни и в Анненкове.

И какие только национальности не жили в Куоккале: русские, финны-крестьяне, сдававшие дешевые дачи (с финскими мальчиками мы играли в прятки и другие шумные игры), петербургские немцы, финляндские шведы, петербургские французы и итальянская семья Пуни – с необыкновенно темпераментным стариком Альбертом Пуни во главе, вечным заводилой различных споров, в которых он всегда и вполне искренне выступал как отчаянный русский патриот.

На благотворительных спектаклях стремились поразить неожиданностями. Ставились фарсы, шутили над всеми известными дачниками. Мой старший брат Миша играл в куоккальском театре в фарсе Е. А. Мировича (Дунаева) «Графиня Эльвира». Но были и «серьезные» спектакли. Репин читал свои воспоминания. Чуковский читал «Крокодила». Жена Репина знакомила с травами и травоедением.

Почти все (кроме новичков) были знакомы друг с другом, ходили друг к другу в гости. Создавали благотворительные сборы, детские сады на общественных началах. Взрослые и дети вместе играли в крокет, в серсо, в рюхи. На даче у Пуни большими компаниями катались на гигантских шагах, делали на них «звездочку», при которой «закрученный» другими катающийся взлетал очень высоко – почти вровень с макушкой столба. Пожилые играли в саду в винт и преферанс. Неторопливо беседовали. Общественным местом была церковь, где собирались все, в том числе лютеране и католики, но стояли в ней не всегда полностью всю службу, а выходили на лужайку, где были врыты деревянные скамейки и можно было поговорить, посплетничать. Во время войны Репин стал особенно религиозен и пел на клиросе. Религиозен стал и зять Пуни – Штерн – управляющий его доходным домом (угол Боль-

шого проспекта и Гатчинской улицы). Он был немцем, но в начале Первой мировой войны переименовал фамилию на Астров, принял православие. С Мишей Штерном я дружил.

Одевались весело. Приятельница моей матери Мария Альбертовна Пуни, красивая черноглазая итальянка, носила на шиколотке ноги золотую браслетку (платья к четырнадцатому году укоротились и стали только чуть-чуть нависать над стопой). Девочки Анненковы смущали всех, нося в своем саду брюки. Сам Корней Иванович, вернувшись в 1915 году из Англии, куда он ездил с какой-то делегацией, стал ходить босиком, хотя и в превосходном костюме. А писатели – те все выдумывали себе разные костюмы: Горький одевался по-своему, красавец Леонид Андреев по-своему, Маяковский по-своему... Всех их можно было встретить на Большой дороге в Куоккале (теперь Приморское шоссе), они либо жили в Куоккале, либо приезжали в Куоккалу.

Люди искусства стали для нас всех если не знакомыми, то легко узнаваемыми, близкими, встречаемыми.

Свой куоккальский озорной характер К. И. Чуковский сохранял до конца жизни. Вот что мне рассказывала старший врач санатория Академии наук «Узкое» Татьяна Александровна Афанасьева. Жил К. И. Чуковский обычно в центральном корпусе, в комнате 26. Возвращаясь с прогулки, ловил ужей, которых в Узком (по-старинному «Ужское») было много. Навешивал ужей себе на шею и на плечи штук по пять, а затем, пользуясь тем, что двери в комнаты не запирались, подбрасывал их отдыхающим и наслаждался их испугом. Не позволял мешать себе во время работы и поэтому вывешивал на дверях своей комнаты плакат: «Сплю». Такой лист висел часов до трех дня. Приезжавшие к Корнею Ивановичу из Москвы ждали, ждали и в конце концов часто уезжали. Татьяна Александровна рассказывала и о следующей проделке. Бывало, он бросался на колени перед сестрами, приносящими ему лекарства (обычно травяные настойки: сердечные, успокаивающие, снотворные), и умолял их с трагическими жестами забрать лекарства назад.

Давняя подавальщица в столовой Антонина Ивановна тоже хорошо помнит Корнея Ивановича: «Ох, и чудил же», а сама смеется. То было уже в Узком, но стиль поведения был куоккальский.

Веселая и озорная дачная жизнь Куоккалы приобрела в 1914 году тревожные нотки. В сентябре ждали германского десанта в Финляндии. Финские полицейские заколачивали досками вышки дач (дачи в начале века строились непременно с башенками, откуда было видно море). Из фортов Кронштадта доносилась учебная стрельба, которой море придавало какой-то булькающий звук, – точно хлопали открываемые бутылки шампанского. Еще чаще было видно, как буксиры везли мимо фортов барки со щитами, по которым и шла учебная стрельба.

Сам я озорником не был, но озорников в искусстве любил с мальчишеских лет, разумеется – талантливых озорников. Я в детстве жил в Куоккале недалеко от Пенат Репина. Он очень покровительствовал Чуковскому, Пуни, Анненкову, Кульбину. С семьями Пуни и Анненкова наша семья дружила. Помню Мейерхольда, красавца Леонида Андреева. Все они оригинальничали и озорничали, играли в рюхи, запускали змеев на пляже, жгли костры, увлекались фейерверками, домашними театрами, шутивными выставками. Д. Н. Чуковский подарил мне афишу выступления куоккальских озорников в местном театре. О Куоккале как одной из родин европейского авангардизма стоило бы мне написать отдельно. Но тут надо потратить много времени на розыски материалов, а времени становится все меньше и меньше. В студенческие годы огромное впечатление произвели на меня «Столбцы» Н. А. Заболоцкого. Я до сих пор их очень люблю. Люблю веселое искусство – в том числе праздничный балет, классический, «мариинский». Люблю веселое искусство природы: цветы, бабочек, тропические растения, водопады, фонтаны и бури (воду во всех ее шумных

проявлениях). И еще люблю большие корабли, особенно парусные, «мирные» пушечные выстрелы в 12 часов с Петропавловской крепости.

Летом 1915 года в Куоккале появились новые «зимогоры» – беженцы-поляки. И от них я получил первый урок уважения к другим нациям. Мы, мальчишки, дразнили поляков словами «цото бендзе» («что-то будет!»), которые они часто произносили в своих тревожных разговорах. И вот однажды изящная полька обернулась к нам с улыбкой и ласково сказала: «Да, мальчишки! Цото бендзе – и для вас и для нас в этой войне». Нам стало стыдно. Мы не обсуждали между собой этот случай, но дразнить перестали.

И еще одно сильное впечатление в Куоккале. В пасхальную неделю, как и во всех русских православных церквах, разрешалось звонить всем и в любое время. Отец и мы, два брата, однажды (приезжали на дачи рано весной) ходили на колокольню звонить. До какой же степени было восхитительно слушать звон под самыми колоколами!

Был в Куоккале один случай, который «прославил» нас с братом среди всех дачников. Ветер дул с берега (самый опасный). Мой старший брат Миша снял синюю штору у нас в детской, водрузил ее на нашей лодке и предложил прокатиться под «парусом» вполне домашнему мальчику – внуку сенатора Давыдова. Домашний мальчик Сережа (он впоследствии, после Второй мировой войны, работал архитектором-реставратором в Новгороде) пошел к своей бабушке и спросил у нее разрешения прокатиться. Бабушка была франтиха с фиолетовыми глазами, сидела в шелковом платье стального цвета под зонтиком от солнца. Она спросила Мишу только – не промочит ли Сережа ноги: в лодке ведь всегда есть на дне вода. Велела Сереже надеть галоши. Сережа надел новые блестящие галоши и сел в лодку. Все это происходило на моих глазах. Поехали. Северный ветер тихий, как всегда у берега, усилился вдаль. Лодку погнало. Я наблюдал с берега и увидел: синий парус медленно наклонился и исчез. Бабушка, как была в корсете и с зонтиком, пошла по воде, простирая руки к любимому Сереже. Дойдя до глубокой воды, бабушка с фиолетовыми глазами упала без чувств, могла захлебнуться и утонуть. А на берегу за загородкой из простыни загорал проректор Петербургского университета – красавец Прозоровский. Он наблюдал за бабушкой и, когда та упала, бросился ее спасать. И, о ужас! – в одних трусах – тогда это считалось неприличным. Он поднял бабушку с фиолетовыми глазами и понес ее к берегу. А я изо всех сил побежал домой. Подбежав к нашей даче, я замедлил шаг и постарался быть спокойным. Мать спросила, очевидно, догадавшись все же, что что-то случилось: «На море все спокойно?» Я немедленно ответил: «На море все спокойно, но Миша тонет». Эти мои слова запомнились и вспоминались потом в нашей семье сотни раз. Они стали нашей семейной поговоркой, когда внезапно случалось что-либо неприятное.

А в море в это время происходило следующее. Домашний мальчик Сережа, конечно, не умел плавать. Брат стал его спасать и велел сбросить галоши. Но Сережа не хотел – то ли чтобы не послушаться бабушки, то ли потому, что было жаль блестящих галош с медными буквами «С.Д.» («Сережа Давыдов»). Брат пригрозил: «Сбрасывай, дурак, или я сам тебя брошу». Угроза подействовала, а от берега уже гребли лодки и лодки.

Вечером приехал отец. Брата повели на второй этаж пороть, а затем отец, не изменяя своим привычкам, повел нас гулять вдоль моря. Как полагалось, мы с братом шли впереди родителей. Встречные говорили, указывая на моего брата: «Спаситель, спаситель!», а «спаситель» шел мрачный, с зареванной физиономией.

Хвалили и меня за «мудрую» выдержку. А однажды в особенно сильную бурю кто-то из встречных сказал мне: «На море все спокойно, но четыре будки подмыло и опрокинуло». Я немедленно побежал на море смотреть. Бури я люблю и до сих пор, не люблю обманчивого берегового ветра.

Лето длилось бесконечно долго. И в город я возвращался каждый раз повзрослевшим.

И опять «связь времен». Дачевладелец серб А. Шайкович, у которого мы снимали дачу последние три года перед революцией, оказывается, переводил «Слово о полку Игореве» на сербский язык. После революции он был югославским консулом в Финляндии и издал свой перевод «Слова» на сербский язык в Гельсингфорсе.

И еще раз «связь времен». Когда рукопись этих моих воспоминаний была совершенно готова, я полистал очерк К. И. Чуковского о Короленке. Выяснилось, что Владимир Галактионович Короленко чрезвычайно любил бросать на тихую поверхность моря плоские камешки и был своего рода чемпионом этой игры. Я тоже любил это занятие, и осенью 1931 года мы развлекались с племянником писателя Владимиром Юльяновичем Короленко во время своих тайных прогулок в лесу у соловецких озер (об этом дальше). Оказывается, «печь блины» было любимым занятием Короленок...

Часть Финского залива, отделенная сейчас от остальной его части дамбой, до сих пор называется Маркизовой лужей: в первые годы XIX века здесь обычно устраивал морские учения маркиз де Траверсе. Море располагало к забавам.

Жизнь дачной местности летом была совершенно непохожа на современную. Дачники постоянно общались, ходили друг к другу в гости, обсуждали все новости – как газетные, так и местные. Каждый заботился о своей репутации, о том, что о нем говорят. Наряжались не только для того, чтобы похвастаться своей портнихой, но и чтобы создать «свой образ». Мария Альбертовна Пуни одевалась экстравагантно, другие – подчеркнуто скромно или «строго» – в аристократическом вкусе.

Все это создавало культуру. Культура дачного общества была повторением русской культуры в целом, но в меньшем масштабе. Она носила разговорный характер. Мнение каждого вырабатывалось в беседах с друзьями, иногда в спорах, которые не вели к вражде, но создавали интеллектуальную индивидуальность каждого.

К прогулкам готовились за неделю. Обсуждались наряды. Прогулочный костюм должен был быть скромным и вместе с тем красивым. Обувь! – это был главный вопрос для дам. Готовились бутерброды, закуски, напитки. Надо было не только поесть семье, но и угостить знакомых.

У садовницы-финки, к которой я зашел в 1985 году в Комарове, чтобы купить цветов для кладбища, я спросил: не помнит ли она пансионат «Юлия» на Церковной улице в Келомьяках, где мы жили, кажется, в 1915 году. «Юлии» она не вспомнила, а о пансионатах и Куоккале мы разговорились. Вот что она рассказывала:

«Когда здесь русские господа жили, как здесь было весело, сколько было праздников. На Троицу, бывало, все березками украшено – даже поезда с березками ходили. На берегу вечерами оркестр играл. Компании водили. В ветреную погоду змея пускали. А теперь есть ли змеи? А тогда и взрослые и дети пускать змея любили. На Иванов день костры жгли, бочки со смолой. В крокет играли. А теперь и крокет забыли. Наверное, и не продается? На станции встречать поезда ходили. Около всех станций садики были. С поезда разъезд был. Много таратаек ехало. Финские лошадки маленькие, но быстрые и выносливые.

Финны русских господ любили... Русские вежливые были, приветливые».

Когда в первую финскую войну финны отсюда уходили, Александра Яновна спряталась – хотела с русскими остаться. Между двумя финскими войнами ее вывезли куда-то – может быть, в Вологду. Там она замуж вышла. Первую ее дачу отобрали пожарные, но дали другую, и она разводила цветы, ягоды, огурцы. С того и жила. К ней мы постоянно заходили. И с дочерью Верой заходили.

Я был рад поговорить с ней о Куоккале. Мои впечатления совпали с ее. Значит, я не преувеличивал.

«Семейные» слова

Существование «семейных» слов, шуток и поговорок – свидетельство крепости семьи. Моя бабушка по матери и ее верная Катеринушка (о последней я писал выше) любили вставлять в свою речь поговорки и пословицы (и первые и последние всегда как шутку), и эти обычные для всех шутки своею понятностью именно в тесном семейном кругу как бы служили удостоверением прочности семейного быта. О надетой с форсом набекрень дамской шляпке или слишком вольном дамском костюме говорили: «неглиже с отвагой». О франтоватом мужчине, что он держится фертом (ферт – название буквы «Ф», напоминающей избоченившегося человечка), и т. д.

Наша няня Катеринушка, вдова питерского мастерового, любила присказку: «Как у Семянникова на заводе, только трубы пониже и дым пожиже» (в начале нашего века густой дым из труб завода служил как бы рекламой предприятия, свидетельствуя якобы о напряженной его работе). Эту присказку Катеринушка говорила о тех, кто старался показать, что всю работу делает. В разговорах бывало множество острот, которые я называю «устойчивыми» и которые понимались «между своими». Из поговорок в нашей семье особенно частыми были: «Мели Емеля – твоя неделя» (о вранье и пустозвонстве) и «На тебе, Боже, что нам негоже». Обе поговорки «успокаивали», приглашали терпимо относиться к чужому хвастовству и показной доброте.

Много было и «детских» слов, с которыми обращались к детям и говорили о детях. Но, увы, слова эти забылись.

Меньше традиционных, «семейных» слов и выражений я слышал от отца: может быть, потому, что весь уклад отцовской семьи был мрачноватым и шутить там не было принято. Но, скажем, молитвенные слова повторялись у отца и у его брата «дяди Васи»: «Царица Небесная», «Матерь Божья», не потому ли, что семья была в приходе храма Владимирской Божьей Матери? Со словами «Царица Небесная» отец и умер во время блокады. Но были у отца и свои привычные выражения, которые воспринял и я, хотя смысл их для меня остается непонятным; привычным было только их употребление в быту. Так, например, при какой-либо мелкой неприятной неожиданности отец восклицал: «Ах ты! Сделай одолжение!» Например, когда ошибся в чем-либо, занозил руку, не туда попал, забыл пенсне или носовой платок... Объяснить это выражение я не берусь, хотя сам употреблял его до сорока лет постоянно. Думаю, что оно повторяет какую-либо реплику из фарса или водевиля. Выражение это, верно, повторялось в тексте пьесы и имело комический эффект: то, что в искусстве клоунов когда-то называлось «лягушкой». А потом это выражение стало обычной реакцией на неожиданность в какой-то узкой, «своей» среде.

Были свои обычные шутки в языке моего класса, в кружке, где я уже студентом встречался с товарищами, и т. д. Изучать их надо.

Были в моем языке и семейные неправильности. Например, я во всех случаях говорил «оне», а не «они». Как будто бы это была петербургская черта в моем языке, вероятнее всего, передавшаяся мне по семейной линии. Из петербургских слов запомнились мне такие: «вставочка» вместо «ручка», «клякс-папир» вместо «промокательная бумага», «фрыштак» вместо «завтрак». Долгое время (да и сейчас порой) произносил я «ч» вместо полагавшегося по литературному произношению «ш» в словах «что», «булочная», «прачечная» и т. д., а также «г» вместо «в» в словах «его», в окончании родительного падежа на «ого» («нового», «красивого», «городового» и пр.).

Старался я внимательно следить за ударениями в своем языке и даже изобрел «спасительное» правило: если не знаешь, где поставить ударение, – ставь его на один слог ближе к концу слова. С начала XIX века появилась тенденция переносить ударение на один слог

ближе к началу слова. Я стал говорить: «а2гент», «а2рест» «астро2ном» «на2чать» (ставшая знаменитой ошибка – «начать»), «объя2снить», «углу2бить».

Как-то я спросил у академика А. С. Орлова, чистоте речи которого я всегда удивлялся: в каком слое русских самый богатый и правильный язык? Он подумал и ответил: «У среднеусадобного дворянства». И действительно, из этого слоя происходили Пушкин, Тургенев, Бунин: три столпа русского языка. Язык их богат и гибок. Очень много дали мне общения на Соловках с А. А. Мейером, К. А. Половцовой, А. Н. Колосовым, А. П. Суховым, а в корректорской Издательства Академии наук в 30-е годы с образованнейшими на старый манер «учеными корректорами» – А. В. Сусловым, Л. А. Федоровым и другими.

Совершенствовать свой язык – громадное удовольствие, не меньшее, чем хорошо одеваться, только менее дорогое...

Крым

Огромную роль в эстетическом воспитании нашей семьи сыграло пребывание на юге. Отец год работал в Одессе (1911–1912), и два лета мы провели в Крыму, в Мисхоре. Мне вспоминается запах разогретого на солнце лавра, вид от Байдарских ворот, где помещался тогда монастырь, Алушкинский парк и дворец, купания в Мисхоре среди камней (впоследствии по фотографиям я установил, что это было как раз то место, где перед тем купался после болезни Лев Толстой, спускаясь сюда из имения графини Паниной в Гаспре). Особенно эмоционально воспринималась мною маленькая полянка над морем с необыкновенно душистыми цветами. Полянку эту все называли «Батарейка», и туда чаще всего мы ходили гулять. Во время Крымской войны там размещалась небольшая батарея, чтобы воспрепятствовать возможному десанту англо-французских войск в Алушке. Здесь для меня все было слито: чувство природы и чувство истории. Последнее появилось у меня в возрасте 5–6 лет – и прежде всего на памятниках Севастопольской обороны, по которым я любил лазать, и на Малаховом кургане, воображая себя артиллеристом у стоявших среди укреплений орудий; поражение русских войск воспринималось мною уже тогда как личное горе.

Месяцы, проведенные в Крыму, в Мисхоре, в 1911 и в 1912 годах, запомнились мне как самые счастливые в моей жизни. Крым был другой. Он был каким-то «своим Востоком», Востоком идеальным. Красивые крымские татары в национальных нарядах предлагали верховых лошадей для прогулок в горы. С минаретов раздавались унылые призывы муэдзинов. Особенно красив был белый минарет в Кореизе на фоне горы Ай-Петри. А татарские деревни, виноградники, маленькие ресторанчики! А жилой Бахчисарай и романтический Чуфут-Кале! В любые парки можно было заходить для прогулок, а дав «на чай» лакеям, осматривать в отсутствие хозяев алушкинский дворец Воронцовых, дворец Паниной в Гаспре, дворец Юсуповых в Мисхоре. Никаких особых запретов в отсутствие хозяев не существовало, а так как хозяева почти всегда отсутствовали, то парадные комнаты (кроме сугубо личных) были доступны для обозрения.

Береговая полоса в те времена не могла находиться в частной собственности. От Мисхора по берегу шла бетонированная дорожка до Ливадии, по которой мы всей семьей гуляли по вечерам за маяк Ай-Тодор. Никаких частновладельческих пляжей! По берегу нельзя было пройти только от Мисхора до Алушки, из-за скал. Но по высокой части шла прекрасная дорога. Все эти прогулки хорошо сохранились в моей памяти благодаря отличным фотографиям отца. Теперь многого уже нет, нет и чудесной дорожки по берегу от Алушки. «Царская тропа» к Ореанде тоже укоротилась и изменила свой вид.

В 60-е годы мы ездили в Дом творчества, в Ялту. После уже не захотелось ехать туда во второй раз – разрушать тот «маленький рай», который еще существовал в моей памяти.

Когда эта заметка была уже написана, я прочел статью Т. Братковой «Город Солнца» («Дружба народов». 1987. № 6). Ее надо прочесть и не забывать: она нужна всем, кто любит Крым.

Может быть, с тех пор у меня начала укрепляться любовь к различным памятным местам и «музеям под открытым небом» – будь то знаменитый памятник-«пушка» в Одессе, усадьбы-музеи, петровские домики в Петербурге, да и просто маленькие лирические памятники вроде памятника Жуковскому в Петербурге в Александровском саду, где я чаще всего гулял до «вечернего колокольчика» сторожа, когда сад запирался на ночь, или небольших памятников Петру, которых было несколько в Петербурге: например, Петр, мастерающий лодку, – на набережной у Адмиралтейства. Уже тогда в Крыму меня поразили старые деревья в Никитском саду, а в Петербурге во время неизменных праздничных прогулок на Острова я благоговейно смотрел на Петровский дуб, огороженный скромной решеткой.

Стоя перед этим дубом, я шептал ему свои заветные желания: например, получить в подарок еще одну лучиночную коробочку с оловянными солдатиками или «настоящую» паровую машину – паровозик, который видел у приятеля. Странно – желания мои исполнялись, и я приписывал исполнение их не внимательности родителей, которые, конечно, о них догадывались, но доброму и всеильному дубу. Язычество проснулось у меня вместе с чувством истории очень рано.

Осенью 1914 года, когда началась Первая мировая война, мы жили в Оллило близко от Большой дороги. Ждали десанта немцев в Финляндии. Дачники спешно уезжали в Питер. Вагонов для перевозки дачного скарба не хватало. Финны везли тяжело нагруженные телеги мимо нашей дачи и часто застревали в песке. Тревога усиливалась лесными пожарами (лето было засушливое). В воздухе стоял запах дыма. Время детского рая кончилось навсегда.

По Волге в 1914 году

В мае 1914 года мы ездили по Волге – от Рыбинска до Саратова и обратно. Мои родители, старший брат Михаил и я. До Рыбинска от Петербурга – поездом. Как ехали поездом – не помню. Смутные впечатления сохранились только от вокзала в Петербурге. Скорее всего, это был Николаевский (теперь Московский). Там, где прибывали и отходили поезда, в крытой части вокзала, и где обрывались рельсы, всегда помещалась икона. Отъезжающие молились перед ней. Жарко горели десятки свечей.

Был май месяц. Утром Рыбинск встретил нас дождем и холодом. Мы направились в суровский магазин купить мне длинные чулки, на которые мне надо было сменить мои носочки. Разумеется (дети всегда одинаковы!), мне этого очень не хотелось. Весной надо было быть одетым как можно более легко: таково было мальчишеское франтовство. А тут еще «оскорбление» в магазине. Приказчица-девушка, которая взялась мне примерить чулки, обратилась ко мне со словами: «Барышня, дайте мне вашу ножку!» Меня приняли за девочку! Ужас!

В те времена на Волге лучшими пароходными компаниями считались две: «Самолет» (розовые красавцы теплоходы с двумя красными полосами на трубе и полукруглым зеркальным стеклом спереди в ресторане) и «Кавказ и Меркурий» (белые суда). Суда «Самолета» ходили от Нижнего до Астрахани. До Нижнего надо было добираться на колесных «кашинских». А суда общества «Кавказ и Меркурий» шли от самого Рыбинска. Мы взяли каюту на одном из судов компании «Кавказ и Меркурий».

И. Разживихин в статье «Как назывались пароходы» (журнал «Речной транспорт». 1984. № 9) указывает такие названия пароходов общества «Самолет»: «Князь Серебряный», «Князь Юрий Суздальский», «Князь Мстислав Удалой»; общества «Русь»: «Князь Пожарский», «Козьма Минин», «Владимир Мономах», «Дмитрий Донской», «Алеша Попович», «Добрыня Никитич». Я помню встреченный нами пароход «1812 год». Даже по названиям пароходов мы могли учиться русской истории.

На Волге погода потеплела, и мы в первый же день пообедали на носу парохода на воздухе. До сих пор помню вкус хлеба и весенних огурцов. Замечали ли вы, что еда на воздухе имеет другой вкус? Гораздо лучший.

Волга тогда была другая, чем сейчас. Я уже не говорю о том, что она была без «морей» и разливов, без плотин и шлюзов. На ней было множество мелких судов разных типов. Буксиры тянули канатами караваны барок. Сплавливали лес плотами. На плотках ставили шатры и даже маленькие домики для плотогонов. Вечером ярко горели костры, на которых плотогоны готовили пищу и у которых сушили выстиранную одежду. Русские крестьяне при всей своей бедности были очень опрятны. Раза два-три встретились красавицы «беляны». Беляны назывались так потому, что они были некрашенные. Бель – это некрашеное дерево. Эти огромные высокие барки плыли по течению, управляясь длинными веслами. В нижнем безлесном районе Волги их разбирали на строительный материал. И строились беляны в верховьях Волги так, чтобы не портить бревна и доски.

Волга была наполнена звуками. Гудели, приветствуя друг друга, пароходы. Капитаны кричали в рупоры, иногда – просто чтобы передать новости. Грузчики пели.

Существовали специально волжские анекдоты, где главную роль играли голоса кричавших друг другу с больших расстояний людей, плохо и по-своему понимавших друг друга. Но были и детские байки, и звукоподражания. Помню такое «звукоподражание» переключаящимся друг с другом петухам. Первый петух кричит: «В Костроме был». Второй спрашивает: «Каково там?» Первый отвечает: «Побывай сам». Этот «диалог» довольно хорошо передавал по интонации петушину переключку.

А вот сцена, которую я сам наблюдал. Была она в духе Островского. Сел к нам на пароход богатый купец, не устававший хвастаться своим богатством. Встречающиеся плоты он приветствовал, приложив ко рту ладони рупором: «Чьи плоты-те?» С плотов ему непременно отвечали: «Панфилова». Тогда купчишка с гордостью оборачивался к стоявшей на палубе публике и с важностью говорил: «Плоты-те наши!»

Была и такая сцена. По Волге обычно плавал бывший борец Фосс. Был он огромного роста и необыкновенной толщины. Говорили, что он под рубашку подвязывал себе подушку, чтобы казаться еще толще. Хвастался он дружбой с кем-то из великих князей и поэтому считал себя вправе ни за что не платить. Во время обедов он съедал множество всего. Волжские пароходы славились тогда великолепной кухней, особенно рыбной (стерляди, осетрина, икра паюсная, зернистая, истычная и пр.).

Фосс сел к нам на пароход вечером в Нижнем. Пассажиры встревожились: будет скандал. А шутники пугали: «Съест все, и ресторан закроют». Капитан знал, однако, как бороться с Фоссом. Отказать Фоссу заказывать блюда было нельзя. Капитан шел на расход. Но когда Фосс отказался платить, ему предложили сойти с парохода. Фосс упрямылся. Тогда собрали всех матросов, и они, подпирая Фосса с обоих боков, выдавили его. Мы с верхней палубы следили за тем, как выставляли Фосса. Он долго стоял на пристани и сыпал угрозами.

Много на Волге пели. Песни слышались и с берега. Пели и на нижней палубе, в третьем классе: пели частушки и плясали. Мать не вынесла, когда плясала беременная женщина, и ушла вместе с отцом. Вдогонку беременная плясунья спела нам частушку об инженерах (отец неизменно носил инженерскую фуражку; поэтому плясунья и узнала его профессию).

На пристанях грузчики («крючники») помогали своему тяжелому труду возгласами и пением. Помню, ночью тащили из трюма (пароход был грузо-пассажирский) какую-то тяжелую вещь; грузчики дружно в такт кричали: «А вот пойдет, а вот пойдет!» Когда вещь сдвинулась, дружно кричали: «А вот пошла, а вот пошла, пошла, пошла!» Этот ночной крик хорошо запомнился мне.

На каждой остановке у пристани собирался маленький базар. Капитан говорил, где и что покупать – где ягоды, где корзины, где икру, где палочки-тросточки. Палочки мы с братом жадно выбирали. Брат купил себе палочку с рукояткой в виде головы турка, а я – с птичкой. Эти палочки долго у нас хранились. Не то эти покупки тросточек были в Кинешме, не то в Плесе. Помню точно, что берег у пристани, где шла торговля, был очень зеленый, лесистый и круто поднимался вверх.

В Троицу капитан остановил наш пароход (хоть и был он дизельный, но слова «теплоход» еще не было) прямо у зеленого луга. На возвышенности стояла деревенская церковь. Внутри она вся была украшена березками, пол усыпан травой и полевыми цветами. Традиционное церковное пение деревенским хором было необыкновенным. Волга производила впечатление своей песенностью: огромное пространство реки было полно всем, что плавает, гудит, поет, выкрикивает. В городах пахло рыбой, разного рода снедью, лошадьми, даже пыль пахла почему-то ванилью. Люди ходили, громко разговаривая или перебраниваясь, торговцы выкликали свои товары, заманивали покупателей. Мальчишки-продавцы газет выкликали их названия, а иногда и заголовки статей, сообщения о происшествиях. На рынках встречались персы, кавказцы, татары, калмыки, чуваша, мордвина – все одетые по-своему, говорившие на своих языках. В Сарепте и Саратове слышалась немецкая речь.

В Саратове мы пересели на обратный пароход той же компании «Кавказ и Меркурий», которую мы, мальчишки, дружно стали считать лучше бледно-розового пароходства «Самолет».

Как возвращались поездом, не помню. Помню только, что обратный пароход назывался «1812 год» и встретился нам «Кутузов». Это было на 101-й год после Бородинской битвы.

От прежнего остаются картины, своеобразные фотографические снимки. От путешествия по Волге я яснее всего помню одну. Мы сидим с дочкой капитана на ковре в капитанской каюте и играем во что-то скучное (дочка младше меня, да она и девочка, а я не умею играть в куклы). От палубы нас отделяет решетка от потолка до пола. Родители кричат мне: «Посмотри – Жигули! Соловьи поют». Я вижу через решетку высокий лесистый берег и слышу щелканье соловьев, но мне неловко не играть с дочкой капитана. Я долго потом жалел, что плохо видел и плохо слушал соловьев. Это ощущение упущенной возможности сохранилось и до сих пор. Но, может быть, в этом случае мое сознание не «сфотографировало» бы этот вид на Жигули через решетку?

И все же я могу сказать про себя с гордостью: «Я видел и Волгу».

Гимназия Человеколюбивого общества

Осенью 1914 года я поступил в школу – в гимназию Человеколюбивого общества, ту самую, в которой одно время учился А. Н. Бенуа. Она находилась на Крюковом канале против колокольни Чевакинского, недалеко от дома Бенуа – того самого, от которого отходила конка в Коломну. На этой конке я любил ездить со своей нянькой, забравшись на империал. Какой волшебный вид на город открывался с империала!

Учиться я поступил восьми лет, и сразу в старший приготовительный класс. Родители выбирали не школу, а классного наставника. И он в этом старшем приготовительном классе был действительно замечательным. Капитон Владимирович! Он был строг, представитель, умен и отечески добр, когда это было можно. Это был Воспитатель с большой буквы. Ученики его уважали и любили. Ученики! Но они были со мной совсем другими, и у меня с ними сразу пошли конфликты. Я был новичок, а они уже учились второй год, и многие перешли из городского училища. Они были «опытными» школьниками. Однажды они на меня накинулись с кулачками. Я прислонился к стене и, как мог, отбивался от них. Внезапно они отступили. Я почувствовал себя победителем и стал на них наступать. Но я не видел инспектора, которого заметили они. В результате в дневнике у меня появилась запись: «Бил кулаками товарищей. Инспектор Мамай». Как я был поражен этой несправедливостью! В другой раз они бросали в меня на улице снежками и подвели к маленькому оконцу, из которого за поведением учеников наблюдал все тот же инспектор Мамай. В дневнике появилась вторая запись: «Шалил на улице. Инспектор Мамай». И родителей вызвали к директору.

Как я не хотел ходить в школу! По вечерам, становясь на колени, чтобы повторять вслед за матерью слова молитв, я еще прибавлял от себя, утыкаясь в подушку: «Боженька, сделай так, чтоб я заболел». И я заболел: у меня стала подниматься каждый день температура – на две-три десятых градуса выше 37. Меня взяли из школы, а чтобы не пропустить год, наняли репетитора. Это была польская школьница-беженка (шла зима 1915 года). Маленькая, худенькая. И нанималась она заниматься со мной за плату вместе с обедом. За обеденным столом она казалась совсем маленькой, и отец из жалости к ней подпилит ножки обеденного стола, сделал его ниже. Потом этот обеденный стол всегда приходилось ставить на стеклянные подножки от рояля, чтобы вернуть ему прежнюю высоту. От этой польской девочки я получил еще один урок национального воспитания. Рассказывая мне русскую историю, она увлеклась и стала говорить про польскую историю, а я взял да и выпалил ей в лицо: «Никакой польской истории нет». Я, очевидно, спутал историю с учебником истории. Учебника истории Польши действительно на русском языке не было. Но польская школьница стала мне возражать и вдруг заплакала. Этих слез мне и сейчас стыдно...

Уроки рисования в училище Мая

Уроки рисования в училище Мая, как я уже сказал, вел наш классный наставник М. Г. Горохов. Он всегда входил в класс серьезный, как бы «выполняющий высокий долг» (а долг его и в самом деле был высоким). Часто читал нам нотации. Учил нас корректности в обращении друг с другом, манере держаться. Помню, что ставил нам в пример учеников старших классов, и в частности будущего архитектора, Игоря Ивановича Фомина.

Но самое удивительное были уроки рисования М. Г. Горохова. Два года мы проходили с ним перспективу. По его проекту был создан в новом здании училища Мая кабинет для уроков рисования. Там были удобные пюпитры, на которые мы накалывали бумагу для рисунков. Со всех мест было хорошо видно натуру, а натура состояла для уроков перспективы главным образом из проволочных каркасов. Перспектива была точнейшая наука, учившая нас думать. Уроки перспективы были сродни урокам геометрии. С тех пор я умею замечать ошибки художников в перспективе.

И вместе с тем уроки рисования были уроками труда, ручного труда, они учили работать руками. Даже стирать резинкой неверно нанесенную карандашную линию надо было уметь. И этому М. Г. Горохов нас тоже учил. А что стоили походы с ним на выставки, хотя принимать участие в этих походах мне приходилось редко.

Умный «ручной труд»

В годы Первой мировой войны в училище Мая был введен урок ручного труда. Чем это диктовалось, я не знаю. Но воспитательное значение он имел очень большое.

Сравнительно молодой столяр говорил нам: «Когда работаешь, надо думать». Я это запомнил. Он учил нас, как без гвоздей делать различные деревянные поделки – полки, рамки, табуретки, как делать различные сочленения, чтобы вещь крепко держалась без гвоздей, как выбирать дерево для работы, как обходить сучки, как работать рубанком, полировать. Закончив один какой-то прием, мы переходили к другому. «Ручной труд», так назывался урок, был уроком творчества. От менее сложных приемов мы переходили к более сложным. И хотя в классе было много детей работников отнюдь не ручного труда – уроки эти нам нравились. Единственное, что нам мешало, это то, что нас было много: человек двадцать, а нашему преподавателю надо было показывать каждому в отдельности. Объяснив нам все приемы работы, преподаватель ручного труда подходил к каждому из нас (верстаков и столярных инструментов было много) и каждому показывал отдельно – как держать инструмент, как им работать. Многие, конечно, понимали не сразу, стояли и ожидали, пока к ним подойдет наш милый интеллигентный рабочий-столяр.

Ручной труд был трудом умственным и давал нам радость овладения новым.

Само собой, что сделанные нами полочки, коробочки и скамейки мы уносили домой, и сделанным нами гордилась вся семья.

Революция – внешние впечатления

Ни моя семья, ни я, одиннадцати-двенадцатилетний мальчик, разумеется, ничего толком не понимали, что происходит; и происходит почти на наших глазах, так как жили мы на Новоисаакиевской улице вблизи Исаакиевской площади. Семья слабо разбиралась в политике.

Когда в первые дни Февральской революции «гордовики» (так называли в Петрограде городских) захватили вышку Исаакиевского собора и чердаки гостиницы «Астория» и оттуда обстреливали любую собиравшуюся толпу, мои родители возмущались «гордовиками» и боялись приближаться к этим местам. Но когда «гордовиков» стащили с их позиций и разъяренная толпа убивала их, родители возмущались жестокостью толпы, не особенно входя в дальнейшее обсуждение событий.

Когда мы с отцом ходили на Невский, чтобы посмотреть на непрерывно и, по-видимому, без особой цели маршировавшие под оркестры полки, звуки маршей поднимали нам настроение, но когда эти же полки шли нестройными рядами, мы огорчались, ибо помнили, с каким блеском шел до войны Конногвардейский полк по воскресеньям в свою полковую Благовещенскую церковь, с каким балетным искусством вышагивал впереди командир полка – полковник из русских немцев, как блестяли кирасы и каски, как лихо крутил палку тамбурмажор перед оркестром.

Да и до революции... Когда мы с отцом гуляли по Большой Морской и видели, как строят дом и носят тяжести на своих спинах обутые в лапти, чтобы не скользить, крестьяне, приехавшие в город на заработки, я почти задыхался от жалости и вспоминал с отцом «Железную дорогу» Некрасова. То же самое происходило на любой набережной в местах, где разрешалось разгружать барки с кирпичом и дровами. Здоровенные катали вкатывали быстро-быстро свои тачки с тяжеленным грузом, чтобы взобраться, не останавливаясь, по узким доскам, перекинутым с бортов барж на набережную. Мы жалели каталей, старались представить себе, как они живут в отрыве от семей на этих барках, как замерзают по ночам, как тоскуют по своим детям, ради которых они, в сущности, и зарабатывали свой хлеб тяжелым трудом. Но когда эти же бывшие грузчики и носильщики, мастеровые и мелкие служащие пошли по бесплатным билетам на балет в Мариинский театр и заполнили собой партер и ложи, родители жалели о былом бриллиантовом блеске голубого Мариинского зала. Единственное, что на тех представлениях радовало родителей, – это то, что балерины танцевали не хуже прежнего. Спесивцева, а затем и Люком, были так же великолепны, раскланивались перед новой публикой так же, как и перед старой. А ведь как это было замечательно! Какой урок уважения к новому зрителю давал нам всем тогдашний театр!

В 1920-е годы величайшим успехом пользовались оперы «Хованщина» и «Сказание о граде Китеже», а в операх этих два замечательнейших певца и артиста: Павел Захарович Андреев (муж Дельмас) и Иван Васильевич Ершов. Мусоргский и Римский-Корсаков – особенно первый, – это не только композиторы, но и философы русской истории. Надо было иметь Мусоргскому гениальное чутье, чтобы вложить проникновеннейшую арию, обращенную к России, в уста нравственно сомнительного персонажа – Шакловитого. Если бы он вложил ее в уста безупречного героя, она бы не производила такого впечатления. Впрочем, все равно, ария оставалась гениальной. Зал ждал и замирал от волнения, когда Андреев – Шакловитый пел: «Спит стрелецкое гнездо. Спи, русский люд. Враг не дремлет», а затем, обращаясь к залу: «О, ты, в судьбине злосчастная Русь. Стонала ты под яремом татарским, шлабрела за умом боярским... Пропала дань татарская, престала власть боярская, а ты, печальница, страждешь и терпишь...». Зал вставал, когда Андреев заканчивал свой монолог молит-

вой: «Ей, Господи, возьми грех мира, услышь меня, не дай Руси погибнуть от лихих наемников». До трех раз пел Андреев эту арию: зал требовал повторений. Многие плакали.

Другой не менее сильный сюжет была судьба Гришки Кутерьмы, которого гениально пел и играл Ершов в опере «Китеж». Этими Гришками, разорявшими церкви и предававшими Русь, была наполнена страна, и когда мы с родителями возвращались на Петроградскую сторону пешком среди полной темноты, стараясь держаться середины улицы по заржавевшим трамвайным рельсам, нам казалось, что нас окружают за углами перекрестков точно такие же Гришки: пропившиеся, продавшие всё и вся.

Впоследствии, в 30-е годы, Ершов часто заходил в книжный магазин Академии наук, помещавшийся тогда на Менделеевской линии дом 1. Он любил поболтать с заведующей магазином полькой Еленой Казимировной, которой мы дали прозвище «Отчаянная любезность». Галантный и остроумный Ершов любил побеседовать с Еленой Казимировной, как бы отдохнуть от царящей кругом грубости.

Жизнь в Первой государственной типографии

Отец был искренне рад и горд, когда рабочие электрической станции в Первой государственной типографии (теперь это Печатный Двор) выбрали его своим заведующим. Мы переехали с Новоисаакиевской в центре Петрограда на казенную квартиру при типографии на Петроградской стороне. Это была осень 1917 года. События Октябрьской революции оказались как-то в стороне от меня. Я их плохо помню.

Жизнь в типографии меня во многом воспитала. Типографии я обязан своим интересом к типографскому делу. Запах свежееотпечатанной книги для меня и сейчас – лучший из ароматов, способный поднять настроение. Я свободно ходил по типографии, знакомился с наборщиками, считавшими себя среди рабочих интеллигентами, носившими длинные волосы (прическа эта называлась «марксистка»), часто писавшими стихи и гордившимися своей работой. Отец постепенно стал специалистом по типографским машинам. Вскоре после революции для типографии были закуплены за рубежом печатные машины, в которых отец один и смог разобраться.

Типография имела большой театральный зал, где для рабочих и служащих выступали лучшие певцы и актеры города и даже однажды происходил публичный диспут на тему «Есть Бог или нет» между А. В. Луначарским и обновленческим митрополитом Александром Введенским...

Помню парадоксы того времени: толпа верующих после диспута хотела побить именно митрополита, и отец по просьбе начальства спасал его, выйдя с ним на другую улицу через черный ход нашей квартиры.

Жизнь в типографии многому меня научила, многое раскрыла, объяснила. Но, может быть, не последнюю роль сыграло и то, что на некоторое время отец получил на хранение библиотеку директора ОГИЗа – небезызвестного в тогдашних литературных кругах Ильи Ионовича Ионова. В его библиотеке были эльзевире, альдины, редчайшие издания XVIII века, собрания альманахов, дворянские альбомы, Библия Пискаatora, роскошнейшие юбилейные издания Данте, издания Шекспира и Диккенса на тончайшей индийской бумаге, рукописное «Путешествие из Петербурга в Москву» Радищева, книги из библиотеки Феофана Прокоповича, множество книг с автографами современных писателей (запомнились письма-надписи на сборниках стихов Есенина, А. Ремизова, А. Н. Толстого и т. д.). Получил отец в подарок и некоторые вещи – посмертную маску, снятую Манизером с головы А. Блока новым способом – так, чтобы голова была цельной, не только лицо. В ней трудно было узнать Блока – совершенно лысый, изможденный, старый. Маска-голова эта пропала.

Библиотека была получена нами при следующих обстоятельствах. У нас была на Печатном Дворе огромнейшая казенная квартира, в которой мы с братом катались даже на велосипеде. И. И. Ионов получил в качестве почетной ссылки назначение торгпредом в США и, зная честность отца, существование у него большой квартиры, свез основную часть своей библиотеки к нам. Возвратился И. И. Ионов уже не в Ленинград, а в Москву. Отец немедленно по возвращении Ионова погрузил все книги в контейнеры и отправил их ему в Москву. Там вскоре Ионов был арестован, вещи в Москве пропали.

Несколько лет пребывания великолепной библиотеки в нашей квартире не прошли для меня даром. Я рылся и рылся в ней, читал, смотрел, любовался изданиями и рукописями, гравюрами и photographиями с памятников искусства. Мне не хватало образования – иначе я бы еще больше смог получить для себя от этой необыкновенной библиотеки. На многое я просто не обратил внимания.

Сам И. И. Ионов не имел систематического образования. Он в свое время был арестован царским правительством в Одессе еще гимназистом и получил пожизненное заключе-

ние, которое и проводил в Шлиссельбургской тюрьме, откуда вышел глубоко больным человеком и с невероятными провалами в знаниях, за что над ним насмеялись многие, не зная, что при всем этом он был начитан в самых неожиданных областях, так как имел возможность в тюрьме получать книги.

Тайцы, Ольгино, Токсово

После революции, когда закрылась финляндско-русская граница, мы жили в дачный сезон в разных местностях: в Тайцах, в Ольгине за Лахтой, в Токсово. Но нигде уже не было такой интересной и веселой жизни, как в Куоккале: там был петербургский дачный уклад. Когда-то он, видимо, был и в Ольгине, но исчез уже к нашему там пребыванию. Дачники не ходили в гости друг к другу. В Ольгине был театр, темный и мрачный, в котором однажды со вступительным словом к концерту из произведений Чайковского выступил мой любимый школьный учитель Леонид Владимирович Георг. Это выступление, вероятно, было ему нужно как дополнительный приработок, и он застеснялся, увидев в зале меня и свою ученицу из другого класса – Женю Максимову. Мне было бесконечно жаль Леонида Владимировича. То небольшое, что было интересным в Ольгине, – это огромный камень на берегу залива, взорванный пополам, на котором, по местным преданиям, стоял Петр в 1724 году, руководя спасением застигнутых бурей рыбаков; да еще – Коннолахтинская дорога, прорубленная, по тем же преданиям, в лесу, чтобы перевезти к берегу залива Гром-камень под пьедестал Медного всадника.

Дачная жизнь в Ольгине была сопряжена с хозяйственными заботами голодного времени. С утра я отправлялся в Конную Лахту искать молоко за деньги или за вещи в обмен. Местные крестьяне-финны по большей части отказывали грубо или соглашались обменять скупое; держались с чувством собственного превосходства. Я сушил на зиму листья черной смородины и малины для «чая», собирал шишки для самовара, вязал березовые веники для бани. Жить в Ольгине было, может, даже труднее, чем в городе, но такова сила обычая: летом надо выезжать на дачу.

Жизнь в Токсово была более интересной. В те времена вся местность, которая зовется сейчас Токсово и Кавголово, называлась Токсово. Кавголовским было только озеро, в которое врезалась Крестовая гора и где, по преданию, прежде стоял крест на месте гибели одного из дравшихся здесь на дуэли петербургских офицеров.

Вся местность была полна историческими воспоминаниями, о которых нам рассказывала хозяйка дачи – дочь местного учителя-финна, знавшая финский язык, и ее муж – Дмитрий Александрович Нецветаев, отдаленный родственник Дениса Давыдова, хранивший миниатюру с портрета поэта.

А местность действительно была интересной. Здесь находилась когда-то охотничья мыза шведского короля. Сама она сгорела, но сохранялись еще под покровом густого леса каменные своды ее подвалов. Недалеко была безлесая гора Понтус, на которой, как рассказывали, разбил свой лагерь шведский военачальник Понтус де ла Гарди во время своего похода на Москву в Смутное время. На этой горе финские мальчишки иногда находили шведские монеты, пуговицы, лезвия ножей...

Была в Токсово и Комендантская гора, где находилась финская школа и на которой когда-то жил шведский комендант мызы. Потомки шведов еще жили в Токсово. В хорошем доме жила семья Гавеман (ближе к озеру Хеппо-ярви), а в другом очень длинном и очень старом одноэтажном доме – две сестры Асаланус, бравшие к себе на две недели или на месяц финских девушек перед их конфирмацией в кирке. Финки обучались там начаткам музыки и французского языка. Конечно, все это потом начисто ими забывалось, но они возвращались к своим коровам с чем-то очень важным на всю жизнь: с уважением к культуре, гордостью тем, что они знали два-три французских слова.

Ходил я на старинное шведское кладбище по старой дороге. Кладбище было отгорожено валом, на котором росли необыкновенной красоты старые березы. На самом кладбище

сохранялись шведские надгробные плиты. Я старался разобрать надписи и даты, среди которых были и относящиеся к XVII веку.

Железная дорога к Токсово и дальше была построена в стратегических целях во время Первой мировой войны, проходила за Токсово по узкому перешейку между Кавголовским озером, где берет свое начало речка Охта и имелся шлюз, и Пасторским озером, на берегу которого когда-то жил пастор-швед. Во время нашего там пребывания пастор приезжал уже только из Финляндии и только летом.

Впоследствии, как я узнал, шведские плиты на кладбище разбили; само кладбище было превращено в картофельное поле, шведов и финнов выселили. История «исчезла»...

Осталась ли пихтовая аллея, ведущая от нашей дачи к маленькому озеру Питки-вейси («Кривой ножик»)? Сохранились ли деревни за Хеппо-ярви («Лошадиное озеро»)? Я мечтал найти сведения об этих местах в архивах, найти остатки Петровской дороги, ведущей сюда, по преданию, из Петербурга.

История местностей, в которых мы жили на даче, начала интересовать меня еще с Тайц, где мы жили летом 1917-го, потом – в Ольгине, где мы жили в 1918 и 1919 годах, и стала серьезной в Токсово, где я уже занимался тем, что записывал местные предания. Записки пропали у меня во время обыска 8 февраля 1928 года.

В Токсово я набрался здоровья. Родители наняли мне на все лето лодку, небольшую финского образца с острым носом, и я особенно любил плавать в ней в непогоду навстречу волнам.

Следы загара, приобретенного мною на воде, еще долго оставались на мне. Когда в Соловках я болел сыпным тифом, врач спрашивал меня: «Откуда у вас загар? Вы ведь все лето провели в тюрьме?» А это был загар двухлетней давности. Думаю, своим здоровьем, интересом к людям, оптимизмом я обязан дачам, даже в самые тяжелые годы снимавшимся моими родителями.

И все-таки самыми яркими воспоминаниями о дачной жизни навсегда осталась Куоккала...

Школа Лентовской

Первое время после переезда в казенную квартиру на Петроградской стороне (Гатчинская, 16, или Лахтинская, 9) я продолжал учиться у Мая. В ней я пережил самые первые реформы школы, переход к трудовому воспитанию (уроки столярного искусства сменились пилкой дров для отопления школы), к совместному обучению мальчиков и девочек (к нам в школу перевели девочек из соседней школы Шаффе) и т. д. Но ездить в школу в переполненных трамваях стало совершенно невозможно, ходить – еще труднее, так как затруднения в тогдашнем Петрограде с едой были ужасными. Мы ели дуранду (спрессованные жмыхи), хлеб из овса с кострицей, иногда удавалось достать немного мороженой картошки, за молоком ходили пешком на Лахту и получали его в обмен на вещи. Меня перевели поблизости в школу Лентовской на Плуталовой улице. И снова я попал в замечательное училище. Сравнительно со школой Мая «Лентовка» была бедна оборудованием и помещениями, но была поразительна по преподавательскому составу. Школа образовалась после революции 1905 года из числа преподавателей, изгнанных из казенных гимназий за революционную деятельность. Их собрала театральная антрепренер Лентовская, дала денег и организовала частную гимназию, куда сразу стали отдавать своих детей левонастроенные интеллигенты. У директора (Владимира Кирилловича Иванова) в директорском его кабинете была библиотечка революционной марксистской литературы, из которой он до революции секретно давал читать книги заслуживающим доверия ученикам старших классов.

Между учениками и преподавателями образовалась тесная связь, дружба, «общее дело». Учителям не надо было наводить дисциплину строгими мерами. Учителя могли постыдить ученика, и этого было достаточно, чтобы общественное мнение класса было против провинившегося и озорство не повторялось. Нам разрешалось курить, но ни один из аборигенов школы этим правом не пользовался.

Об одном из преподавателей этой школы, Леониде Владимировиче Георге, я написал отдельный очерк. Но мог бы написать и о многих других: об Александре Юрьевиче Якубовском (нашем преподавателе истории, будущем известном востоковеде), о Павле Николаевиче Андрееве (преподавателе рисования, брате Леонида Андреева), о Татьяне Александровне Ивановой (нашем преподавателе географии) и о многих других. Школа была близко, и я постоянно посещал различные кружки, главным образом кружки литературы и философии, в занятиях которых принимали участие и многие «взрослые». Об одном из таких участников наших кружков – Евгении Павловиче Иванове, друге Александра Блока, я немного написал в статье «Из комментария к стихотворению А. Блока „Ночь, улица, фонарь, аптека...”» в книге «Литература – реальность – литература» (второе издание – 1984 г.).

Один летний месяц имел огромное значение для формирования моей личности, моих интересов и, я бы сказал, моей любви к Русскому Северу: школьная экскурсия в 1921 году на север – по Мурманской железной дороге в Мурманск, оттуда на паровой яхте в Архангельск вокруг Кольского полуострова по Белому морю, затем на пароходе по Северной Двине до Котласа и оттуда по железной дороге в Петроград. Двухнедельная эта школьная экскурсия сыграла огромную роль в формировании моих представлений о России, о фольклоре, о деревянной архитектуре, о красоте русской северной природы. Путешествовать нужно по родной стране как можно раньше и как можно чаще. Школьные экскурсии устанавливают и добрые отношения с учителями, вспоминаются потом всю жизнь.

В школе я наловчился рисовать карикатуры на учителей: просто – одной-двумя линиями. И однажды на перемене нарисовал всех на классной доске. И вдруг вошел преподаватель. Я обмер. Но преподаватель подошел, смеялся вместе с нами (а на доске был изображен и он сам) и ушел, ничего не сказав. А через два-три урока пришел в класс наш классный

наставник и сказал: «Дима Лихачёв, директор просит вас повторить все ваши карикатуры на бумаге для нашей учительской комнаты»: были у нас умные педагоги.

В школе Лентовской поощрялось собственное мнение учеников. В классе часто шли споры. С тех пор я стремлюсь сохранять в себе самостоятельность во вкусах и взглядах.

Для моего любимого преподавателя литературы Леонида Владимировича Георга существовал прежде всего Пушкин, но существовала и вся другая литература – не скажу даже, что на втором плане. Когда он чем-нибудь интересовался, это выходило на первый план. Кстати, он очень ценил и поощрял А. Введенского, который уже в школе (он был старше меня на 1 или 2 класса) писал свои «обэриутские» стихи.

В разные годы, в разных условиях мне нравятся совершенно различные произведения западных литератур. То тянет перечитать Диккенса, то Джойса, то Пруста, то Шекспира, то Норвида... Мне легче перечислить тех авторов, которых мне не хочется перечитывать. А вообще-то я очень жаден к перечитыванию. А ведь я не перечислил еще философов, которых люблю и мнение которых я могу даже, как бы играя, временно и с удовольствием разделять. Ведь философские теории и мироощущения имеют для меня еще и эстетическую ценность. Философы – художники, и мы не должны закрываться от них ширмами собственных взглядов. Впрочем, вопрос этот очень сложный – как воспринимать философские концепции. Возражая и «отругиваясь», мы многого себя лишаем.

Леонид Владимирович Георг

Леонид Владимирович Георг принадлежал к тем старым «учителям словесности» в наших гимназиях и реальных училищах XIX и начала XX века, которые были подлинными «властителями дум» своих учеников и учениц, окружавших их то серьезной любовью, то девчоночьим обожанием.

Именно эти старые «учителя словесности» формировали не только мировоззрение своих учеников, но воспитывали в них вкус, добрые чувства к народу, интеллектуальную терпимость, интерес к спорам по мировоззренческим вопросам, иногда интерес к театру (в Москве – к Малому театру), к музыке.

Леонид Владимирович обладал всеми качествами идеального педагога. Он был разносторонне талантлив, умен, остроумен, находчив, всегда ровен в обращении, красив внешне, обладал задатками актера, умел понимать молодежь и находить педагогические выходы из самых иногда затруднительных для воспитателя положений.

Расскажу об этих его качествах.

Его появление в коридоре, на перемене в зале, в классе, даже на улице было всегда заметно. Он был высок ростом, лицо интеллигентное и чуть насмешливое, но при этом доброе и внимательное. Белокурый, со светлыми глазами, с правильными чертами лица (может быть, чуть коротковат был нос, хотя правильная его форма скрадывала этот недостаток), он сразу привлекал к себе внимание. На нем всегда хорошо сидел костюм, хотя я никогда не помню его в чем-либо новом: времена были тяжелые (я учился у него в 1919–1923 годах), и где было взять это новое на скромное учительское жалованье!

Мягкость и изящество в нем доминировали. Ничего агрессивного не было и в его мировоззрении. Ближе всего он был к Чехову – его любимому писателю, которого он чаще всего читал нам на своих «заместительских уроках» (т. е. уроках, которые он давал вместо своих часто хворавших тогда товарищей-педагогов).

Эти «заместительские уроки» были его маленькими шедеврами. Он приучал нас на этих уроках к интеллектуальному отношению к жизни, ко всему окружающему. О чем только не говорил он с нами! Он читал нам своих любимых писателей: я помню чтение «Войны и мира», пьес Чехова («Чайки», «Трех сестер», «Вишневого сада»), рассказов Мопассана, былин «Добрыня Никитич» и «Соловей Будимирович» («Добрыню Никитича» Леонид Владимирович читал на родительском собрании для родителей – их он также воспитывал), «Медного всадника»... Всего не перечислишь. Он приходил в класс с французскими текстами и показывал нам, как интересно учить французский язык: он разбирал рассказы Мопассана, рылся при нас в словарях, подыскивал наиболее выразительный перевод, восхищался теми или иными особенностями французского языка. И он уходил из класса, оставляя в нас любовь не только к французскому языку, но и к Франции. Стоит ли говорить, что все мы после этого начинали, как могли, изучать французский. Урок этот был весной, и помню, что я все лето потом занимался только французским... На иных своих «заместительских уроках» он рассказывал нам о том, как он слушал Кривополенову, показывая, как она пела, как говорила, как делала во время пения свои замечания. И все мы вдруг начинали понимать эту русскую бабушку, любить ее и завидовали Леониду Владимировичу, что он ее видел, слышал и даже разговаривал с ней. Но самыми интересными из этих «заместительских уроков» были рассказы о театре. Еще до выхода в свет знаменитой книги Станиславского «Моя жизнь в искусстве» он нам рассказывал о теории Станиславского, последователем которой он был не только в своей актерской практике, но и в педагогике. Его рассказы о постановках и знаменитых актерах как-то органически переходили в занятия по той или иной пьесе, которую он великолепно ставил с учениками в школе. Постановка «Маленьких трагедий» Пуш-

кина была его огромным успехом не только как педагога, не только как великого режиссера (я не побоюсь назвать его именно «великим»), но и как художника-декоратора. Из цветной бумаги вместе с помогавшими ему учениками он создал необычайно красивые лаконичные декорации к своим постановкам. Помню в «Каменном госте» черные или какие-то очень темные (зеленые? синие?) кипарисы в виде остроконечных конусов, белую колонну в каком-то интерьере – тоже вырезанную из бумаги, которую мой отец добывал ему из отходов на Печатном Дворе, где мы тогда жили.

Помню, как он воспитывал в своих учениках актеров. Это был именно его прием – прием режиссера-воспитателя. Он заставлял своих актеров носить костюм своей роли в обычной жизни. На уроках сидел Дон Гуан, загримированный, в испанском костюме и со шпагой, сидела Дона Анна в длинном платье. А на переменах они гуляли и даже бегали, но только так, как должен был бы бегать Дон Гуан или Дона Анна в какой-то сложной воображаемой ситуации (актер должен был играть все время, но если он хотел порезвиться или сделать что-либо необычное для своей роли, он обязан был придумать мотивировку, создать себе соответствующую «ситуацию»). Носить платье Леонид Владимирович учил прежде всего – прежде, чем входить в роль. Актер должен был чувствовать себя совершенно свободно в плаще, в длинной юбке, свободно играть шляпой, уметь ее небрежно бросить на кресло, легко выхватить шпагу из ножен. Незаметно Леонид Владимирович следил за таким костюмированным учеником и умел его поправить одним или двумя замечаниями, сделанными всегда тактично и с необходимым юмором.

Леонид Владимирович был поклонником психолога Джемса. Помню, как хорошо объяснял он нам положение Джемса: «Мы не оттого плачем, что нам грустно, но потому грустно, что мы плачем». И это положение он сумел применить в своей педагогической практике. Одному крайне застенчивому мальчику он предложил изменить походку. Он сказал ему, чтобы он двигался быстрее, делал шаги шире и непременно размахивал руками, когда ходил. Встречая его на перемене, он часто говорил ему: «Машите руками, машите руками». Кстати, он обращался к ученикам старших классов на «вы», как это было принято в старых гимназиях, и редко отступал от этого правила. Он воспитывал в своих учениках самоуважение и требовал от них уважения к другим, к своим товарищам. Разбирая какое-нибудь происшествие в классе, он никогда не настаивал, чтобы ему выдали зачинщика или виновника. Он добивался того, чтобы провинившийся сам назвал себя. Выдать товарища было для него недопустимым, как, впрочем, и для всех хороших педагогов старого времени.

Когда я учился в «Лентовке», у Леонида Владимировича был тенор. Впоследствии у него «открылся» баритон, и, говорят, довольно хороший. В те времена в каждом классе стоял рояль, из реквизированных у «буржуев». Леонид Владимирович подходил к роялю и показывал нам на нем то особенности музыкального построения у Чайковского, которого он очень любил (в те времена было модно не любить Чайковского, и Леонид Владимирович посмеивался над этой модой), то тот или иной мотив былины (помню, как он пел зачин к былине «Соловей Будимирович», рассказывая об использовании этой былины в «Садко» Римского-Корсакова).

С дурными привычками или безвкусицей в одежде учениц Леонид Владимирович боролся мягкой шуткой. Когда наши девочки повзрослели и стали особенно следить за своими прическами и походкой, Леонид Владимирович, не называя никого из них по имени, рассказывал нам, что происходит в этом возрасте, как девочки начинают ходить, вихляя бедрами (и рискуя, по его словам, получить «вывих таза», им, конечно, придуманный), или устраивают себе кудельки, и в чем состоит вкус в одежде. Он даже читал нам в классе о Дж. Бремеле из книги М. Кузмина «О дендизме», но не для того, чтобы восславить дендизм, а скорее для того, чтобы раскрыть нам сложность того, что может быть названо краси-

вым поведением, хорошей одеждой, умением ее носить, вышутить фатовство и пижонство у мальчишек.

Немало лет прошло с тех пор, но как много запомнилось из его наставлений на всю жизнь! Впрочем, то, что он говорил и показывал нам, нельзя назвать наставлениями. Все говорилось ненарочито, при случае, шутливо, мягко, «по-чеховски».

В каждом из учеников он умел открыть интересные стороны – интересные и для самого ученика, и для окружающих. Он рассказывал об ученике в другом классе, и как было интересно узнать об этом от других! Он помогал каждому найти самого себя: в одном он открывал какую-то национальную черту (всегда хорошую), в другом нравственную (доброту или любовь «к маленьким»), в третьем – вкус, в четвертом – остроумие, но не просто остроумие, а умел охарактеризовать особенность его остроумия («холодный остряк», украинский юмор – и непременно с пояснением, в чем состоит этот украинский юмор), в пятом открывал философа и т. д. и т. п.

Мой друг Сережа Эйнерлинг (сын поэта Галины Галиной) увлекался в школе Ницше, а другой друг Миша Шапиро – О. Уайльдом. Разумеется, Леонид Владимирович знал об этих увлечениях и как-то рассказывал в классе и о Ницше, и об Уайльде. Он показывал ценные стороны их отношения к действительности, но так, что нам всем становилось ясным: тот и другой интересны, но нельзя ограничиваться ими. Надо быть всегда шире своих учителей. Он помог моим друзьям сойти со своей «мировоззренческой платформы», оставшись при этом благодарными своим мальчишеским кумирам.

Для самого Леонида Владимировича не было кумиров. Он с увлечением относился к самым разнообразным художникам, писателям, поэтам, композиторам, но его увлечения никогда не переходили в идолопоклонство. Он умел ценить искусство по-европейски. Пожалуй, самым любимым его поэтом был Пушкин, а у Пушкина – «Медный всадник», которого он как-то поставил с учениками. Это было нечто вроде хоровой декламации, которая была поставлена как некое театральное представление, главным в котором был сам текст, пушкинское слово. На репетициях он заставлял нас думать – как произнести ту или иную строфу, с какими интонациями, паузами. Он показывал нам красоту пушкинского слова. И одновременно он неожиданно показывал нам и пушкинские «недоделки» в языке. Вот пример, запомнившийся мне с тех времен: «Нева всю ночь // Рвалась к морю против бури. // Не одолев их (чьей?) буйной дури... // И спорить стало ей невмочь...». Такие же недоделки, если не ошибки, умел он найти в самых известных произведениях живописи, скульптуры, музыки. Он говорил как-то, что у Венеры Милосской ноги чуть короче, чем следует. И мы это начинали видеть. Разочаровывало ли это нас? Нет, наш интерес к искусству от этого возрастал.

Леонид Владимирович был очень широк в своих эстетических вкусах. В нашей школе учились некоторые из будущих «обэриутов». Как сейчас помню Александра Введенского. Уже окончив школу, он пришел как-то на заседание школьного литературного кружка и читал там свои заумные стихи. Леонид Владимирович с очень большим интересом отнесся к его стихам и, выбрав в одном из них самую бессмысленную строку, со смехом и одобрением ее повторял, а потом в этой строке повторил одно только самое в них «острое» слово – «воротнички».

В школе Леонид Владимирович организовал самоуправление КОП (я уже забыл, как расшифровывается это сокращение). Я почему-то очень был против этой «лицемерной», как мне казалось, затеи. Я доказывал в своем классе, что настоящего самоуправления быть не может, что КОП не годится и как некая игра, что все эти заседания, выборы, выборные должности – только напрасная потеря времени, а нам надо готовиться поступать в вуз. Я как-то стал вдруг действовать против Леонида Владимировича. Моя любовь к нему почему-то перешла в крайнее раздражение против него. Весь класс наш отказался принимать участие

в КОПе. Мы не ограничились этим, но агитировали и в других классах против КОПа. Леонид Владимирович сказал по этому поводу моему отцу: «Дима хочет показать нам, что он совсем не такой, каким он нам представлялся раньше». Он был явно сердит на меня. Но в класс он к нам пришел, как всегда, спокойный и чуть-чуть насмешливый и предложил нам рассказать ему все наши мысли по поводу КОПа, внести свои предложения. Он терпеливо выслушал все, что мы думали о КОПе. И он нам не возражал. Он только спросил нас: что же мы предлагаем? К позитивной программе мы были совершенно не готовы. И он помог нам. Он обратил внимание на те наши высказывания, где мы признавали, что в школе некому выполнять тяжелые работы, некому пилить дрова, некому таскать рояли (почему-то приходилось часто переносить рояли из одного помещения в другое). И он предложил нам: пусть класс не входит в КОП, пусть он будет организован так, как он хочет, или даже не организован вовсе; но пусть класс помогает школе в тяжелой работе, на которую нельзя нанять людей со стороны. Это оказалось для нас приемлемым. Конечно, мы были в школе самые старшие и самые сильные; конечно, мы не могли допустить, чтобы девочки из младших классов выполняли за нас трудные работы. Мы будем все это делать, но мы не хотим никакой организации. Леонид Владимирович сказал на это: «Но назвать вас все же как-то надо?» Мы согласились. Он тут же предложил: «Давайте без претензий: „самостоятельная группа”, или короче – „самогруппа”». Мы согласились и на это. Таким образом, незаметно для нас он прекратил весь наш «бунт», и мы вошли в школьное самоуправление как его очень важная и действительно ценная часть.

Жил Леонид Владимирович тяжело. Педагоги получали тогда очень мало. Иногда устраивались в их пользу концерты. Леонид Владимирович долго отказывался, но однажды и в его пользу пришли в школу играть знакомые ему актеры.

Приходилось ему самому ради денег читать лекции в совсем непривычной аудитории.

Вскоре после окончания мной школы он заболел, кажется, сыпным тифом. Болезнь испортила сердце. Я встретил его в трамвае, и он мне показался потолстевшим. Леонид Владимирович сказал мне: «Не располнел, а распух я!» Затем наступила пора, в которой Леонид Владимирович являлся нам, его ученикам, только в воспоминаниях. Более полувека помню я его так ясно, как никого из других своих учителей. Помню его высокий очень красивый лоб...

Университет

Наиболее важный и в то же время наиболее трудный период в формировании моих научных интересов – конечно, университетский.

Я поступил в Ленинградский университет несколько раньше положенного возраста: мне не было еще 17 лет. Не хватало нескольких месяцев. Принимали тогда в основном рабочих. Это был едва ли не первый год приема в университет по классовому признаку. Я не был ни рабочим, ни сыном рабочего, а – обыкновенного служащего. Уже тогда имели значение записочки и рекомендации от влиятельных лиц. Такую записочку, стыдно признаться, отец мне добыл, и она сыграла известную роль при моем поступлении. Университет переживал самый острый период своей «перестройки». Активно способствовал или даже проводил перестройку «красный профессор» Николай Севастьянович Державин – известный болгарист и будущий академик.

Появились профессора «красные» и просто профессора. Впрочем, профессоров вообще не было – звание это, как и ученые степени, было отменено. Защиты докторских диссертаций совершались условно. Оппоненты заключали свои выступления так: «Если бы это была защита, я бы голосовал за присуждение...» Защита называлась диспутом. Особенно хорошо я помню защиту в такой условной форме, но в очень торжественной обстановке в актовом зале университета – Виктора Максимовича Жирмунского. Ему так же условно была присуждена степень доктора, но совсем не условно аплодировали и подносили цветы. Тема «диспута» была его книга «Пушкин и Байрон».

Так же условно было и деление «условной профессуры» на «красных» и «старых» по признаку – кто как к нам обращался: «товарищи» или «коллеги». «Красные» знали меньше, но обращались к студентам «товарищи»; старые профессора знали больше, но говорили студентам «коллеги». Я не принимал во внимание этого условного признака и ходил ко всем, кто мне казался интересен.

Я поступил на факультет общественных наук. Сокращение ФОН расшифровывалось и так: «Факультет ожидающих невест». Но «невест» там, по нынешним временам, было немного. Просто их много казалось от непривычки: ведь до революции в университете учились только мужчины. Состав студентов был не менее пестрый, чем состав «условных профессоров»: были пришедшие из школы, но в основном это были уже взрослые люди с фронтов гражданской войны, донашивавшие свое военное обмундирование. Были «вечные студенты» – учившиеся и работавшие по 10 лет, были дети высокой петербургской интеллигенции, в свое время воспитывавшиеся с гувернантками и свободно говорившие на двух-трех иностранных языках (к таким принадлежали учившиеся со мной И. И. Соллертинский, И. А. Лихачёв (будущий переводчик), П. Лукницкий (будущий писатель), да и многие другие).

На факультете были отделения. Было ОПО – общественно-педагогическое отделение, занимавшееся историческими науками, было этнолого-лингвистическое отделение, названное так по предложению Н. Я. Марра, – здесь занимались филологическими науками. Этнолого-лингвистическое отделение делилось на секции. Я выбрал романо-германскую секцию, но сразу стал заниматься и на славяно-русской.

Обязательного посещения лекций в те годы не было. Не было и общих курсов, так как считалось, что общие курсы мало что могут дать фактически нового после школы. Студенты сдавали курс русской литературы XIX века по книгам, прочесть которых надо было немало. Зато процветали различные курсы на частные темы – «спецкурсы», по современной терминологии. Так, например, В. Л. Комарович вел по вечерам два раза в неделю курс по Достоевскому, и лекции его, начинаясь в шесть часов вечера, затягивались до двенадцатого часа.

Он погружал нас в ход своих исследований, излагал материал как научные сообщения, и посещали его лекции многие маститые ученые. Я принимал участие в занятиях у В. М. Жирмунского по английской поэзии начала XIX века и по Диккенсу, у В. К. Мюллера по Шекспиру, слушал введение в германистику у Брима, введение в славяноведение у Н. С. Державина, историографию древней русской литературы у члена-корреспондента АН СССР Д. И. Абрамовича, принимал участие в занятиях по Некрасову и по русской журналистике у В. Е. Евгеньева-Максимова; англосаксонским и среднеанглийским занимался у С. К. Боянуса, старофранцузским у А. А. Смирнова, слушал введение в философию и занимался логикой у А. И. Введенского, психологией у Басова (этот замечательный ученый очень рано умер), древнецерковнославянским языком у С. П. Обнорского, современным русским языком у Л. П. Якубинского, слушал лекции Б. М. Эйхенбаума, Б. А. Кржевского, В. Ф. Шишмарева и многих, многих других, посещал диспуты между формалистами и представителями традиционного академического литературоведения, пытался учиться пению по крюкам (ничего не вышло), посещал концерты симфонического оркестра в Филармонии, но путешествовал мало: не позволяло здоровье, условия для поездок по стране после Гражданской войны были трудные, родители снимали на лето дачу, и надо было ею пользоваться целиком. Мы часто ездили тогда на дачу в Токсово, и я интересовался историей тех мест (здесь еще в 20-е годы жили шведы и финны, знавшие местные исторические предания, которые я записывал). Все кругом было интересно до чрезвычайности, а если вспомнить и о событиях чисто литературных, возможность пользоваться всеми книжными новинками, печатавшимися на Печатном Дворе, библиотекой университета и библиотекой редчайших книг в Доме книги, в котором по совместительству работал отец, то единственное, в чем я испытывал острый недостаток, – это во времени.

Ленинградский университет в 20-годы представлял собой необыкновенное явление в литературоведении, а ведь рядом еще, на Исаакиевской площади, был Институт истории искусств («Зубовский институт»), и существовала интенсивная театральная и художественная жизнь. Все это пришлось на время формирования моих научных интересов, и нет ничего удивительного в том, что я растерялся и многого просто не успевал посещать.

Я окончил университет в 1928 году, написав две дипломные работы: одну о Шекспире в России в конце XVIII – самом начале XIX века, другую – о повестях о патриархе Никоне. К концу моего учения надо было еще зарабатывать на хлеб, службы было не найти, и я подражался составлять библиотеку для Фонетического института иностранных языков. Институт был богатый, но деньги мне платили неохотно. Я работал в Книжном фонде на Фонтанке в доме № 20, возглавлявшемся Саранчиным. И снова поразительные подборки книг из различных реквизируемых библиотек частных лиц и дворцов, редкости, редкости и редкости. Было жалко подбирать это все для Фонетического института. Я старался брать расхожее, необходимое, остальное, наиболее ценное, оставляя неизвестно кому.

Что дало мне больше всего пребывание в университете? Трудно перечислить все то, чему я научился и что я узнал в университете. Дело ведь не ограничивалось слушанием лекций и участием в занятиях. Бесконечные и очень свободные разговоры в длинном университетском коридоре. Хождения на диспуты и лекции (в городе было тьма-тьмущая различных лекториев и мест встреч – начиная от Вольфины на Фонтанке, зала Тенишевой (будущий ТЮЗ), Дома печати и Дома искусств и кончая небольшим залом в стиле модерн на самом верху Дома книги, где, случалось, выступали Есенин, Чуковский, различные прозаики, актеры и т. д.). Посещения Большого зала Филармонии, где можно было встретить всех тогдашних знаменитостей – особенно из музыкального мира. Все это развивало, и во все эти места открывал доступ университет, ибо обо всем наиболее интересном можно было узнать от товарищей по университету и Институту истории искусств.

Из занятий в университете больше всего давали мне не «общие курсы» (они почти и не читались), а семинарии и просеминарии с чтением и толкованием тех или иных текстов.

Прежде всего занятия по логике. С первого курса я посещал практические занятия по логике профессора А. И. Введенского, которые он по иронии судьбы вел в помещении бывших Женских Бестужевских курсов. «По иронии судьбы» – ибо женщин он открыто не признавал способными к логике. В те годы, когда логика входила в число обязательных предметов, он ставил студенткам «зачет», подчеркнуто не спрашивая их, изредка отпуская только иронические замечания по поводу женского ума. Но занятия свои он вел артистически, и студентки, хотя и в малом числе, на них присутствовали. Когда лекции и занятия А. И. Введенского прекратились, один из наших «взрослых» студентов, помню – из числа участников гражданской войны, организовал группу по занятию логикой на квартире у профессора С. И. Поварнина, автора известного учебника логики. Мы ходили к нему и читали в русском переводе «Логические исследования» Гуссерля, изредка для лучшего понимания текста обращаясь к немецкому оригиналу. Поварнин неоднократно повторял нам: языки надо знать хотя бы немного, хотя бы постоянно прибегая к словарю, ибо переводчикам научных и технических книг доверять нельзя. И это мы ощущали.

Настоящей школой понимания поэзии были занятия в семинарии по английской поэзии начала XIX века у В. М. Жирмунского. Мы читали с ним отдельные стихотворения Шелли, Китса, Вордсворта, Кольриджа, Байрона, анализируя их стиль и содержание. В. М. Жирмунский обрушивал на нас всю свою огромную эрудицию, привлекал словари и сочинения современников, толковал поэзию всесторонне – и с биографической, и с историко-литературной, и с философской стороны. Оннисколько не снисходил к нашим плохим знаниям того, другого и третьего, к слабому знанию языка, символики, да и просто английской географии. Он считал нас взрослыми и обращался с нами как с учеными коллегами. Недаром он называл нас «коллеги», церемонно здороваясь с нами в университетском коридоре. Это подтягивало. Нечто подобное мы ощущали и на семинарских занятиях по Шекспиру у Владимира Карловича Мюллера, на занятиях старофранцузскими текстами у Александра Александровича Смирнова, среднеанглийской поэзией у Семена Карловича Боянуса.

Но истинной вершиной метода медленного чтения был пушкинский семинар у Л. В. Щербы, на котором мы за год успевали прочесть всего несколько строк или строф. Могу сказать, что в университете я в основном учился «медленному чтению», углубленному филологическому пониманию текста. Иному – занятиям в рукописных отделениях и библиотеках – учил нас милый В. Е. Евгеньев-Максимов. Дав нам рекомендацию в архив, он как бы невзначай приходил туда же и проверял – как мы работаем, все ли у нас благополучно. А однажды он возил меня с собой и к коллекционеру Кортавову в Новую Деревню, надеясь добыть у него кое-какие материалы по Некрасову. Он пробуждал в нас инициативу поисков, учил нас не «бояться архивов». Боязнь архивов В. Е. считал своего рода детской болезнью начинающего ученого, от которой он должен избавиться как можно быстрее.

Увлекали меня и лекции Е. Тарле. Но лекции эти учили главным образом ораторскому, лекционному искусству. Часто впоследствии, когда я в сороковых годах начинал преподавать на историческом факультете Ленинградского университета, я вспоминал, как останавливался Тарле, якобы подыскивая подходящее слово, как потом «стрелял» в нас этим найденным словом, поражающим своею точностью и запоминавшимся на всю жизнь. Я вспоминал и о том, как Е. В. Тарле «думал», читая свои лекции, как неуклюже, по-медвежьи, топтался возле кафедры, «подыскивая» факты, «вспоминая» документы, создавая полную иллюзию блестящей импровизации. На самом же деле его лекции были детально продуманы заранее.

К древнерусской литературе в университете я обратился потому, что считал ее мало изученной в литературоведческом отношении, как явление художественное. Кроме того, Древняя Русь интересовала меня и с точки зрения познания русского национального харак-

тера. Перспективным мне представлялось и изучение литературы и искусства Древней Руси в их единстве. Очень важным казалось мне изучение изменений стилей в древней русской литературе, во времени. Мне хотелось создать характеристики тех или иных эпох вроде тех, что имелись на Западе – особенно в культурологических работах Эмиля Маля.

Мое время – это не только расцвет литературы (не скажу «ленинградской», ибо литературу на русском языке нельзя делить на ленинградскую, московскую, одесскую, вологодскую и т. д.), но и расцвет гуманитарных наук. Такого созвездия ученых – литературоведов, лингвистов, историков, востоковедов, какое представлял собой Ленинградский университет и Институт истории искусств в Зубовском дворце в 20-е годы, не было в мире. К несчастью, я не представлял себе тогда – как важно послушать поэтов и писателей, повидать их. Поэтому для меня учение в Ленинградском университете было временем упущенных возможностей. Я слышал Собинова, но уступил другу свой билет на Шаляпина, не пошел на встречи с Есениным и Маяковским. Только однажды разговаривал по телефону с С. Маршаком (он предлагал мне заняться детской литературой – писать для детей по русскому языку).

Красный террор

Русская культура Серебряного века (век этот, впрочем, длился всего четверть столетия) рождалась в разговорах, беседах – откровенных, свободных, вскрывавших заветные мысли. В беседах этих, в которых по каким-то особым законам духа должно было быть не меньше трех собеседников, рождались новые мысли, новые «откровения». Беседуя, человек формулировал, оттачивал мысль, прокладывал дорогу для новых мыслей. Полная свобода в этих разговорах была условием их плодотворности. Отнюдь не случайно с 1928 года, с приходом к власти Сталина и его диктатуры над умами и душами, начались гонения именно на кружки интеллигенции, на их встречи и на их беседы.

«Русские разговоры», длительные, за полночь, – типичная и очень плодотворная черта русской культуры XIX – первой четверти XX века.

В своих воспоминаниях мне хотелось бы рассказать о том, чем жила думающая русская молодежь в эти годы, конечно, через узкую «щель» моего личного опыта. Я не вел записок, кроме тех, которые были сделаны на Соловках и сразу по возвращении в Ленинград. Не могу уже сейчас точно восстановить даты. Что помню, то помню.

Есть принципиальное различие в том, как начинались кружки в 20-е годы и как возникают ученые общества сейчас. Тогда достаточно было найти временное помещение для заседаний, чтобы назначить лекцию, доклад, открыть дискуссию. Если появлялась серия выступлений или спорный вопрос растягивался на несколько заседаний, иногда не очень ясных – кто их созывает, – появлялось и желание окрестить себя и завести книгу протоколов. Комната в квартире, зал школьного театра Тенишевского училища, учительская комната в школе, оповещение от руки написанными объявлениями (а чаще друг через друга) – были вполне достаточными.

Сперва потребность – потом скромное «оформление». Сейчас, в наши дни, нечто совершенно противоположное: прежде всего придумывается название, изыскиваются средства, утверждается штат и т. д. Названия – самые «высокие» и ранг не ниже лица, колледжа, университета, академии и т. д.

Одна из целей моих воспоминаний – развеять миф о том, что наиболее жестокое время репрессий наступило в 1936–1937 годах. Я думаю, что в будущем статистика арестов и расстрелов покажет, что волны арестов, казней, высылки надвинулись уже с начала 1918 года, еще до официального объявления осенью этого года «красного террора», а затем прибой все время нарастал до самой смерти Сталина, и, кажется, новая волна в 1936–1937 годах была только «девятым валом»... Открыв форточки в своей квартире на Лахтинской улице, мы ночами в 1918–1919 годах могли слышать беспорядочные выстрелы и короткие пулеметные очереди в стороне Петропавловской крепости.

Не Сталин начал «красный террор». Он, придя к власти, только резко увеличил его, до невероятных размеров.

В годах 1936-м и 1937-м начались аресты видных деятелей всевластной партии, и это, как кажется, больше всего поразило воображение современников. Пока в 20-х и начале 30-х годов тысячами расстреливали офицеров, «буржуев», профессоров и особенно священников и монахов вместе с русским, украинским и белорусским крестьянством – все казалось «естественным». Но затем началось «самопожирание власти», оставившее в стране лишь самое серое и безличное – то, что пряталось, или то, что приспособлялось.

Пока же в стране оставались мыслящие люди – люди, обладавшие своей индивидуальностью, умственная жизнь в ней не прекращалась – ни в тюрьмах и лагерях, ни на воле. Чуть-чуть захватив в своей молодости людей «серебряного века» русской культуры, я почувствовал их силу, мужество и способность сопротивляться всем процессам разложения в обще-

стве. Русская интеллигенция никогда не была «гнилой». Подвергнувшись «гниению», только ее часть начала участвовать в идеологических кампаниях, проработках, борьбе за «чистоту линии», и тем самым перестала быть интеллигенцией. Эта часть была мала, основная же уже была истреблена в войне 1914–1917 гг., в революцию, в первые же годы террора.

Мои воспоминания – прежде всего о людях, меня окружавших, об умственной жизни 20-х – начала 30-х годов, поскольку она, эта жизнь, была мне доступна в те годы.

С каждым годом моей юности я ощущал надвигающийся гнилостный дух, убивавший удивительную животворную силу, исходившую от старшего поколения русской интеллигенции.

Дневная эпоха сменялась ночной, люди не спали ночами. Люди жили в ожидании, что перед их окнами вот-вот возникнет и замолкнет шум мотора автомобиля и в дверях квартиры появится «железный» следователь в сопровождении бледных от ужаса понятых...

Молодость всегда вспоминаешь добром. Но есть у меня, да и у других моих товарищей по школе, университету и кружкам нечто, что вспоминать больно, что жалит мою память и что было самым тяжелым в мои молодые годы. Это разрушение России и русской церкви, происходившее на наших глазах с убийственной жестокостью и не оставлявшее никаких надежд на возрождение.

Многие убеждены, что любить Родину – это гордиться ею. Нет! Я воспитывался на другой любви – любви-жалости. Неудачи русской армии на фронтах Первой мировой войны, особенно в 1915 году, ранили мое мальчишеское сердце. Я только и мечтал о том, что можно было бы сделать, чтобы спасти Россию. Обе последующие революции волновали меня главным образом с точки зрения положения нашей армии. Известия с «театра военных действий» становились все тревожнее и тревожнее. Горю моему не было пределов.

Естественно, было много разговоров в нашей семье о врожденной якобы беспечности русских (говорилось, что русские всегда полагаются на свое «авось»), о немецком засилии в правительстве, о Распутине, о плохом поведении в Петрограде огромной массы слабо обученных солдат и отвратительных прапорщиках, грубо обучавших новобранцев на улицах и площадях. Этих-то прапорщиков из скрывавшихся от фронта «революционеров», зарабатывавших свое право оставаться в тылу, в Петрограде, жестоким обращением с новобранцами, я наблюдал в районе Исаакиевского собора, где мы жили, ежедневно. Эти «народолюбцы» на деле презирали и ненавидели новобранцев из крестьян.

Когда был заключен позорный Брест-Литовский мир, было невозможно поверить, что это не прямая измена, не дело рук самих врагов нашей родины.

Почти одновременно с Октябрьским переворотом начались гонения на церковь. Эти гонения были настолько невыносимы для любого русского, что многие неверующие начали посещать церковь, психологически отделяясь от гонителей. Вот недокументированные и, возможно, неточные данные из одной книги того времени: «По неполным данным (не учтены Приволжье, Прикамье и ряд других мест), только за 8 месяцев (с июня 1918 по январь 1919 г.)... были убиты: 1 митрополит, 18 архиереев, 102 священника, 154 дьякона и 94 монаха и монахинь. Закрыто 94 церкви и 26 монастырей, осквернено 14 храмов и 9 часовен; секвестрованы земля и имущество у 718 причтов и 15 монастырей. Подверглись тюремному заключению: 4 епископа, 198 священников, 8 архимандритов и 5 игумений. Запрещено 18 крестных ходов, разогнана 41 церковная процессия, нарушены церковные богослужения непристойностью в 22 городах и 96 селах. Одновременно происходило осквернение и уничтожение мощей и реквизиция церковной утвари». Это только за первые месяцы советской власти. А потом пошло и пошло. Это было только начало, после которого последовало объявление «красного террора» (5 сентября 1918 года). Хотя самосуды и массовые расстрелы (те, что происходили в Петропавловской крепости) были и раньше.

Затем начались еще более страшные дела с «живой церковью», изъятием церковных ценностей и т. д. и т. п. Появление в 1927 году «Декларации» митрополита Сергия, стремившегося примирить церковь с государством и государство с церковью, было всеми, и русскими и нерусскими, воспринято именно в этом окружении фактов гонений. Государство было «богоборческим».

Богослужения в оставшихся православными церквях шли с особой истовостью. Церковные хоры пели особенно хорошо, ибо к ним примыкало много профессиональных певцов (в частности, из оперной труппы Мариинского театра). Священники и весь причт служили с особым чувством. Мой педагог Пантелеймон Юрьевич Германович особенно часто ходил в церковь. Там же бывал и мой школьный друг Миша Шапиро из сугубо традиционной еврейской семьи. Тогда же крестилась Мария Вениаминовна Юдина, мой школьный товарищ Володя Раков стал прислуживать в церкви на Петровском острове у отца Викторина Добронравова, и т. д.

Чем шире развивались гонения на церковь и чем многочисленнее становились расстрелы на «Гороховой два», в Петропавловке, на Крестовском острове, в Стрельне и т. д., тем острее и острее ощущалась всеми нами жалость к погибающей России. Наша любовь к Родине меньше всего походила на гордость Родиной, ее победами и завоеваниями. Сейчас это многим трудно понять. Мы не пели патриотических песен – мы плакали и молились.

И с этим чувством жалости и печали я стал заниматься в университете с 1923 года древней русской литературой и древнерусским искусством. Я хотел удержать в памяти Россию, как хотят удержать в памяти образ умирающей матери сидящие у ее постели дети, собрать ее изображения, показать их друзьям, рассказать о величии ее мученической жизни. Мои книги – это, в сущности, поминальные записочки, которые подают «за упокой»: всех не упомнишь, когда пишешь их, – записываешь наиболее дорогие имена, и такие находились для меня именно в Древней Руси.

Выработка мировоззрения

Именно мировоззрения, а не «идеологии». К этому разделу моих воспоминаний я бы взял эпитафией диалог из «Юлия Цезаря» Шекспира. Мысль, в нем выраженная, стала и моим убеждением в течение всей жизни: только правильная философия, правильное мировоззрение способны сохранить человека – и телесно, и духовно. Вот этот диалог:

Б р у т. Кассий, у меня
Так много горя!
К а с с и й. Если пред бедами
Случайными ты упадаешь духом,
То где же философия твоя?
(Четвертое действие.)

Я стал задумываться над сущностью мира, как кажется, с самого детства. Помню, как меня, да и многих детей, волновал «феномен зеркала». Что там за мир, и нельзя ли заглянуть в ту часть зеркального мира, которая скрыта за краями зеркала. «Алиса в Зазеркалье» – этот интерес переживают, мне кажется, все дети. Меня интересовало еще – остаются ли на месте те предметы и тот мир, который я в данное время не вижу. Я старался как можно быстрее и внезапнее оглянуться, чтобы поймать – что же делается за моей спиной, когда я туда не смотрю. Из молитвы, которую мы с матерью читали на ночь, я знал, что у каждого ребенка есть свой ангел-хранитель. И я внезапно оглядывался, чтобы увидеть его за моей спиной. Мир всегда, с дошкольных лет, казался мне загадочным.

В последних классах Лентовской школы ученики стремились вырабатывать свои собственные взгляды на мир. Иметь свое мировоззрение было очень важно для самоутверждения подростков, и думая над смыслом всего существующего, подростки редко приходили к выводу, что эгоизм им необходим. Когда человек задумывается над общими проблемами жизни – он только в случаях полного духовного одиночества решается принять «злые» выводы. Зло возникает обычно от бездумья. Залог совестливости не просто чувства, а мысль!

Мой ближайший друг и сосед по парте Сережа Эйнерлинг увлекался Ницше. Он сам себя называл ницшеанцем. Но ницшеанство его было «добрым ницшеанством». Учение Ницше он вовсе не истолковывал вульгарно и не брал его в целом. Он восхищался отдельными страницами его книг и принимал деление на дионисийское и аполлоновское начала.

Другой мой друг Миша Шапиро любил Оскара Уайльда и мечтал о государстве, во главе которого стояла бы интеллектуальная аристократия. Что-то ему нравилось в Венецианской республике, что-то другое – в Английском государственном строе. В последний год своего школьного учения я сдружился с Сережей Неуструевым. Это был самый скептический из моих друзей. Скепсис – опасен. По окончании школы его завербовало ОГПУ. С риском для своей свободы он предупредил меня за неделю о готовившемся аресте. Вскоре он погиб где-то на Дальнем Востоке.

Конечно, не весь класс серьезно думал о выработке мировоззрения. Но необходимость осознавать свое отношение к окружающему, смею утверждать, была у всех. Это диктовалось событиями в стране и общей интеллигентностью класса.

Что такое общая интеллигентность среды – это разговор особый. Коллективная психология, предполагающая свободу личности, коллективная нравственность, коллективное сверхмировоззрение, сближающее интеллигентных людей всего мира, коллективные умственные интересы, даже свободно меняющиеся моды на глубокие философские течения, понятия человеческой репутации, воспитанности, приличия, порядочности и многие дру-

гие, ныне полузабытые, – составляли содержание этой нравственной среды. В нравственной среде мировоззрение становилось естественным поведением в широком смысле.

Создал и я себе свою «философскую систему». В какой-то мере она отразилась на моем характере, а главным образом – на моей реакции на все невзгоды жизни.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.